



**Н. С. ЛЕСКОВ**  
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Николай Семёнович Лесков

## **Зимний день**

# Содержание

1.....	0005
2.....	0020
3.....	0029
4.....	0036
5.....	0041
6.....	0052
7.....	0061
8.....	0073
9.....	0077
10.....	0084
11.....	0091
12.....	0098
13.....	0102
14.....	0109
15.....	0114
16.....	0121

# Николай Семёнович Лесков

## ЗИМНИЙ ДЕНЬ

### *(Пейзаж и жанр)*

*Днем они сретают тьму и в полдень  
ходят ошупью, как ночью.*

Иова, V, 14

*У Спаса бьют, у Николы звонят, у ста-  
рого Егорья часы говорят.*

В.Даль[1](Присловие)

Зимний, северный день с небольшою оттепелю. Два часа. Рассвет не успел оглядеться, и опять смеркается.

В гостиной второй руки сидят за столом хозяйка и гостя. Хозяйка стара, и вид ее можно бы назвать почтенным, если бы на лице ее не отпечатлелось слишком много заботливости и искательности. Она зрела когда-то лучшие дни и еще не потеряла надежды их возвратить, но она не знает, что для этого надо сделать. Чтобы ничего не упустить, она готова быть всем на свете: это «сосуд», сформованный «в честь» и служащий ныне «сосудом в поношение». Гостя, которую застаем у этой хозяйки, тоже не молода. Во всяком случае, она уже дожила до тех лет, когда можно отказаться от игры в чувства, но она, кажется, от этого еще не отказалась. Эта женщина, без сомнения, была замечательно хороша собою, на теперь, когда она отцвела, от прежних красот остались только «боресты»; фигура ее, однако, еще гибка, и черты лица сохраняют правильность, а в выражении преобладает замеча-

тельная смешанность: то она смотрит тихую ланью, то вдруг эта лань взметнется брыкливою козой.

Бескорыстно увлекаться этою дамой уже нельзя, но, быть может, что-нибудь в этом роде еще возможно, если она поставит вопрос иначе. В своей манере держаться по отношению к солидной хозяйке гостя оттеняет что-то особенно теплое и почтительное, даже как бы дочернее, но эти дамы вовсе не родственницы. Их соединяет дружба, основанная не на одном согласии их вкусов, но и на единстве целей: их объединяет «*metier*»[2].

Теперь они пьют чай, который подан на гараховском сервизе, покрытом вязаным одеяльцем, и гостя сообщает хозяйке о том, что случилось замечательного, и о том, что «говорят». Говорят о соперничестве двух каких-то чудотворцев, а случилось нечто еще более интересное и достойное внимания: вчера совершенно неожиданно приехала из-за границы кузина Олимпия.[3] Это известная особа, она с давних пор посвятила себя «вопросам» и постоянно живет в чужих краях; но когда она приезжает сюда, она привозит с собою кучу

новостей и «делает оживление». Ее жизнь есть нечто удивительное: она не богата. О, совсем не богата! Она даже не имеет решительно никаких средств, но при всем том она ни у кого не занимает и не жалуется на свое положение, а еще приносит своей стране очень много пользы.

Таких дам теперь, слава богу, есть несколько, но Олимпия занимает между ними самое видное место. У нее большое и прекрасное родство. Она родственница и тем двум дамам, которые здесь о ней разговаривают. Во всех глазах Олимпия – величина очень большая, и все ей верят, несмотря на предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами.

Домой, на родину, Олимпия наворачивается всегда внезапно и на короткое время: придет, бросит взгляд, с одним, с другим повидается, «освежит ресурсы» и уедет снова. Многие говорят, что она очень талантлива, но, что еще важнее всего, она совершенно необходима.

Хозяйка на нее немножко недовольна и обращает внимание на то, как дует в окна. Кро-

ме того, она сообщает, что Виктор Густавыч сожалеет еще, что Олимпия не хочет «ладить». Иначе она непременно стала бы очень необходима.

– Впрочем, это нимало не мешает Олимпии отлично себя держать, – заключает хозяйка, – так как Виктор Густавыч сам ни в чем не уверен. Это немало значит.

Гостья глядит глазами лани и этим взглядом отвечает, что она согласна, причем делает маленькое движение брыкливой козы и взглядывает на шезлонг, помещающийся перед камином между трельяжем и экраном.

В стороне от дам, в очень глубоком кресле за трельяжем, полулежит, скрестив на груди руки и закрыв глаза, миловидная девушка лет двадцати трех или четырех. Она, по-видимому, совсем не интересуется тем, о чем говорят дамы: она устала и отдыхает, а может быть, она даже спит. Эта девушка – племянница хозяйки; родные называют ее просто Лидия, а чужие Лидия Павловна. Она нелюбима в своей семье, потому что ведет себя не так, как хочется матери и братьям. Братья ее – блестящие офицеры, и один из них уже драл-

ся на дуэли. Лидия не в фаворе тоже и у тетки, которую она зашла теперь навестить в кои-то веки, но и то не скрыла, что чувствует себя здесь не на своем месте.

Хозяйка посмотрела на Лидию и сказала:

– Она спит. Впрочем, – добавила она, – если б она и не спала, это ей все равно: она нимало не интересуется обществом. Что не касается их курсов, того ей и не надо. Но Олимпия, в которой я не отрицаю ее ума и связей, все-таки очень шлепнулась с тех пор, как она в свой прошлый приезд хотела развести историю с этими высеченными болгарами. Помните, какая тогда с этим было вышла чепуха. Они тогда прознали, что она едет, и сами наехали сюда в большом множестве и все рассказывали, что у них будто бы уже всех секут и что их самих будто тоже всех высекли. Олимпия хотела этим воспользоваться, но увлеклась, и когда с ней спорили, что они хвастаются, то она уверяла, что их будто здесь осматривали в какой-то редакции, и потом, чтобы поднять их значение, она хотела нарочно открыть с ними бал, но тогда стали говорить, что иностранки, пожалуй, не пойдут,

потому что, знаете, с сечеными ведь некоторые не танцуют.

– Я помню это. И, как хотите, танцевать с сечеными... Это... это очень необыкновенно!

– Ну да! – продолжала хозяйка, – а после кто-то проведал, что это даже и затевать не надобно, потому что эти господа будто сами себя здесь секут в каком-то переулке, для того чтобы им удобнее было привлечь внимание... Говорили, что Олимпия будто это и знала... Это бог весть что такое!.. А потом опять оказалось, будто и это неправда, потому что в переулке их хоть и секли, но совсем не для этого, а их так лечил какой-то их компатриот, вроде массажа... Бог уж их знает, как и разобрать, что правда и что неправда.

– Да, это вышла какая-то путаница, в которой нельзя было ничего разобрать, кроме того, что их секли там и секли здесь.

– Вот именно – разгордьяж! И это повело к большой потере, потому что брат Лука рассердился и не только перестал давать денег на славянство, а даже не захотел и слушать. Он ведь, знаете, как осел упрям и прямо сказал: «Все обман!» – и не велел пускать к себе не

только славян, а и самое Олимпию, и послал ей в насмешку перо.

– Какое перо?

– Не знаю какое, – говорили, будто сорочье перо, в шапочку.

– Да разве?

– Конечно! Вот, дескать, тебе, сорока, летай, и теперь никого не принимает.

– На каком это основании Лука Семеныч так дорого ценит свои приемы?

– Богат и ни у кого ничего не ищет, – вот и может не принимать, кого не хочет видеть.

– Но ведь у него никакого другого влияния и нет?

– Никакого. Но все боятся, что он их не примет.

Гостья понизила тон и спросила:

– Вы у него этой зимой были?

Хозяйка сделала отрицательный знак и проговорила:

– Он слишком колок.

– И Аркадий тоже, кажется, у него не бывает?

– Ни Аркадий, ни Валерий: он моих обоих сыновей ненавидит.

– Сварливый старик! Кого же он, однако, теперь принимает?

– Из всех родных к нему теперь вхожи только двое: брат Захар и вот она – Лида.

Гостья кивнула головой на трельяж и улыбнулась.

– Что он принимает Лидию Павловну – это я понимаю. Не принимать людей с весом и значением и ласкать племянницу-фельдшерицу, которая идет наперекор общественным традициям, – это в его вкусе. Так Лука Семеныч манкирует тем, кто желал бы быть у него принят. Но почему из всех родных второе исключение предоставлено Захару Семенычу? Наш милый генерал такой же, как и все мы, бедный грешник.

– Старик Захарушку щадит: «Он, – говорит, – наш брат Захар, наказан в сытость за якшательство с дурными людьми. Пусть бог простит, что он себе устроил».

– Ах, вот что!

Девушка за трельяжем пошевелилась. Дамы это заметили, и гостья, улыбнувшись, промолвила тихо:

– Неужели она опять уснет?

– Наверное, – отвечала хозяйка. – Она так повсеместно: придет, поспит и побежит в свою вонючку «совершать свое дело – потрошить чье-то мертвое тело».[4] Но, однако, надо сказать, что Бертенсон[5] их отлично держит в руках, особенно с тех пор, как они его огорчили.

– Но ведь и он их потом проучил...

– Это правда, но они все-таки от него много терпят.

– Но отчего же Лидии Павловне дома не спать?

– Хаос в семье, все друг другу не нравятся, ей неприятно слышать, что говорят ее братья о гипшических конкурсах[6] и дуэлях, а тем неприятно, что она потрошит мертвое тело, да и матери неприятно слышать, чем она занята, вот и идет весь дом – кто в лес, кто по дрова... Но зато брат Лука ее очень ласкает и даже посылает ей цветы в вонючку.

Гостья кивнула на спящую и тихо спросила:

– Она ведь скоро кончит и будет фельдшеричка?

– Да.

– Мне помнится, она еще давно как будто бы училась перевязкам?

– Ах, ее ученьям несть конца: и гимназия, и педагогика, и высшие курсы – все пройдено, и серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте.

– По-толстовски?

– Мм... Ну, к Толстому, знаете... молодежь к нему теперь уже совсем охладевает. Я говорила всегда, что это так и будет, и нечего бояться: «не так страшен черт, как его малютки».

Гостья улыбнулась и заметила:

– Это правда: он надоел своей моралью, но ведь было время, что вы не держались этой поговорки, а раньше и сами к нему были пристрастны.

– Я? Да, я переменялась, и я этого и не скрываю. Я всегда очень любила чтение и тогда во всех отношениях была за Толстого. Его Наташа, например! Да разве это не прелесть? Это был мой идол и мое божество! И это так увлекательно, что я не заметила, где там излит этот весь его крайний реализм – про эти пеленки с детскими пятнами[7]. Что же такое? Дети мараются. Без этого им нельзя, и

это не производило на меня ничего отвратительного, как на прочих. Или вспомните потом, как у него описан этот Александр Первый.

– Как же! Он одевается?

– Да. Помните, как он пристегивает помочи?

– Ах, это божественно!

– Да; но разве там только одни помочи? Ведь он перед вами тут же весь, как живой!.. Я его вижу, я его чувствую!..

– Тоже очень хорош и Наполеон с его темными глазами.

– У Наполеона были серые глаза.

– Но они давали такое впечатление...

– Об этом не спорю; в этом во всем Толстой несравненен. Тут нет и спора, но когда он замучился, бросил свое дело и стал писать глупости, вроде того, чтобы запрещать людям есть мясо и чтобы никто не женился, а девушки чтобы зашивались по шею и не выходили замуж, то я сразу же прямо сказала: это вздор! Тогда лучше всех свести к скопцам, и конец, но я, как православная, я не хочу быть на его стороне.

Тут гостья тихо заметила, что Толстой *собственно* никогда никому не *запрещал* есть мясо и, кажется, говорил, что иным даже надо жениться.

– Да, я знаю, что *собственно* он еще ничего не запрещал, но, *однако*, для чего он об этом писал так *сильнодержавно*?

– Да, он, конечно, писал очень смело, но *собственно* он, слава богу, у нас еще даже не имеет и права ничего запретить.

– Конечно, слава богу! Но для чего он все это одно только и твердит? Вот это зачем? Он убеждает, что злых не надо обижать, или просто доказывает, что без веры нельзя служить, и все это очень мило, но вдруг сорвется и опять начинает писать глупости: например, зачем мыло? Ну, скажите на милость: он не знает, зачем мыло! Позвольте, но как же без мыла: как мыть руки, голову и, наконец, белье? В золе его, что ли, золить? Но, *однако*, я бы ему еще и это простила за его *прежнее*. По совести говоря, все мужчины глупы, когда берутся не за свое дело; но мало ли что говорит-ся! Не всякое же лыко в строку: вольному воля, а спаси нас рай. То же и о мясе. Кто любит

рыбное или мучное, пусть и не ест мяса. Какая форма правления ни будь, а к этому нигде и никто никого не принуждает... Сделайте милость! Еще, может быть, от этого для нас филейная вырезка дешевле будет. Не правда ли?

– Конечно.

– Ну, то-то и есть! Все равно и те, кто не хочет жениться или которые не хотят замуж выходить, – они пусть так и остаются, как им угодно. Ведь о них и в Евангелии сказано: «суть скопцы...» Понимаете, это безумцы!

Гостья сделала согласный знак головой.

– У моих сыновей, когда они были мальчишки, – продолжала хозяйка, – был репетитор из академистов, очень честолюбивый, но смешной, и все собирался в монахи, а когда мы ему говорили: «Вы, monsieur, лучше женитесь!» – так он на это прямо отвечал: «Не вижу надобности».

Дама слегка полуоборотилась к трельяжу и сказала:

– Лидия, ты проснулась или спишь еще?

– Да, ma tante[8], – ответил полусонный контрольто.

– То есть что же это значит: ты выпалась или ты еще спишь?

– Вы, ma tante, вероятно, хотите говорить о чем-нибудь, чего я не должна понимать, и хотите, чтоб я вышла?

– Я хотела бы, чтобы ты вышла, но только не из комнаты, а вышла бы, наконец, замуж.

– А я тоже спрошу вас, как ваш семинарист: «для какой надобности?»

– А вот хотя бы для той надобности, чтобы при тебе можно было обо всем говорить, не стесняясь твоим присутствием.

– Да мне кажется, вы и так не стесняетесь.

– Ну, нет!

– Значит, я еще мало знаю; но считайте, что я замужем и знаю все, что вам известно.

– Послушайте, пожалуйста, что она говорит на себя! Но я вам что-то хотела сказать... Ах да!.. Вы ведь, наверное, слышали, что все рассказывали о том, как к графу приехал будто один родной, какой-то гусар, в своей форме, все в обтяжку, а он будто взял и подвязал ему нянькин фартук, а иначе он не хотел его пустить в салон.

– Да, об этом говорили... и, говорят, это

правда.

– Ну да! И если хотите, по-моему, гусарская форма в самом деле... не совсем скромно.

– Да, но очень красиво!

– Красиво – да. Но и этот фартук, ведь это тоже дерзость! Гусар – и в фартуке! Но вот чего ему еще больше нельзя простить, это его несносная проницательность. От нее общественный вред.

– Вот, вот! Конечно, вред обществу нельзя позволить. Я слушаю, в чем вы видите это дело?

— **А** дело в том, что по какому праву господин граф портит нашу прислугу? Если он себя приучил, чтобы все за собою прибирать, то это для него и преудобно; но мы к этому пока еще ведь не стремимся. Не так ли?

— Конечно.

— Так для чего же он навязывает нам невозможную жизнь панибратства с прислугой, которая и груба и порочна?

— Это глупо.

— Конечно, глупо! Я внушила Аркадию, чтоб он сделал это в смешные стихи и прочитал. Вы знаете, его талант в свете ведь очень многим нравится.

— Да, это все говорят, и он такой искательный... О, он пойдет!

— Может быть, и даже вероятно; но о будущем нельзя так судить: будущее, как говорят, «в руках всемогущего бога». Только, конечно, ему в его успехе очень много помогает его симпатичный талант. Второй мой сын, Валерий, совсем иной: это практик!

— О, разумеется! — отвечала, немного смущенно.

тившись, гостя и торопливо повернула вопрос в другую сторону. – В чем же именно Толстой портит с прислугой? – спросила она.

– Извольте! – отвечала хозяйка. – Мы будем говорить о прислуге как настоящие чиновницы, но это не пустой вопрос: о прислуге говорит Шопенгауер[9]. Прислуга может вас успокоить и может расстроить. Я вам не буду приводить всех толстовских рацей[10] о прислуге, а прямо дам вам готовую иллюстрацию, как это отражается. У меня вышло расстройство с моей камеристкой... Лидия мешает вам все рассказать, но я не могу утерпеть и кое-что расскажу.

– Пожалуйста, ma tante, говорите все, что хотите! – отозвалась девушка. – Я сейчас вот досплю последний кусочек и уйду.

– Коротко скажу, – продолжала хозяйка, – пришлось перед праздником негодницу прогнать. Ну, а перед праздниками, вы знаете, каков наш народ и как трудно найти хорошую смену. Все жадны, все ждут подарков, а любви к господам у них – никакой. На русский народ очень хорошо смотреть издали, особенно когда он молится и верит. Вот, например, у Ре-

пина, в «Крестном ходе», где, помните, изображено, как собрались все эти сословные старшины...

– Да; или акварель Петра Соколова...[11]

– Да, но тут немножко много синей краски.

– Это правда: он переложил.

– Наши художники вообще не знают меры.

– Да, но ведь все дело в впечатлении... А у меня, – вы знаете ее, – есть одна знакомая: мы все зовем ее «апостолица». Наверное, знаете!

– Конечно, знаю: вы говорите о Marie?

– О ней. Теперь есть несколько подобных ей печальниц, но эту я с другими не сравню. Эта на других не похожа, и притом она уже относится к доисторическим временам; когда еще все мы говорили по-французски, и не было в моде ни Засецкой, ни Пейкер, и даже еще сам Редсток не приезжал... Ух, какая старина! Василий Пашков был еще в военном, а Модест Корф обеими руками крестился и при всех в соборе молебны служил в камергерском мундире. А что до Алексея Павловича Бобринского[12], так он тогда был еще совсем воин галицкий и так кричал, что окна в министерстве дрожали. Сережа Кушелев даже

очень мило нарисовал все это в карикатуре и возил всем показывать, и все очень смеялись.

– Я все это помню.

– Да, это ведь несправедливость, что будто Толстой завел моду ходить пешком и трудиться: Marie это раньше всех, первая стала делать. Она и полы сама мыла и выносила все за больными до гадости. Даже она несколько раз ходила с Николаем Андреевичем в портерные, хотела спасти там каких-то несчастных девчонок, которые их же и просмеяли... Конечно, нельзя же их всех спасти – это глупость: они необходимы, но все-таки со стороны Marie было доброе желание... а как в полиции тогда был Анненков[13], то он все уладил, и скандала не вышло.

– Я помню: это смешно рассказывали.

– О, это было преинтересно, но все равно Marie и теперь такая же осталась: «мать Софья и о всех сохнет». Она ни Редстока не ревновала к богу, ни Пашкова, и Толстого теперь не ревнует: ей как будто они все сродни, а о самой о ней иначе нельзя сказать, как то, что хотя она и сектантка и заблудшая овца, а все-таки в ней очень много доброты и жалости к

людям. Это лучше всей ее веры.

– Ах, кажется это так!

– Конечно, что же их вера? Ведь очень многие эти девочки совершенно жалки: мужчины их смят с собой и бросят... Помните, как это сделал Бертон? Увез, бросил и живи как хочешь; а Marie проводит всю жизнь в заботах о ком-нибудь. Если хотите найти сердечного человека, идите к ней: у нее всегда есть запас людей «униженных и оскорбленных». Я к ней и обратилась с просьбой порекомендовать мне скромную и правдивую девушку, чтобы не было в доме дурного примера и фальши. Главное, чтобы не было фальши, так как я фальшь ненавижу. А Marie даже обрадовалась. «Ах, как мне приятно слышать, говорит, ваше рассуждение! Ложь – это порок, которым сатана начал порчу человека. Он ведь обманул Еву?» Да, да, да, думаю; ты очень начитана, но ты это далеко берешь о прародителях и о сатане, а я тебя просто прошу о горничной девушке.

«Ну да, есть и такая! – отвечает Marie, – у меня теперь приютилась в ожидании места как раз такая превосходная девушка».

«Не притворщица и не побегушка?»

«О, как можно! Она христианка!»

«Да ведь у нас все крещеные и даже православные, но нравы и правила у всех ужасные».

«Нет, что вы: у христиан прекрасные правила! Притом это девушка, которая всегда занята, работает и читает „посредственные книжки“.

«Ага, значит, она толстовка! Ну, ничего: я всякие утопии ненавижу, но прислуге вперять непротивление злу, по-моему, даже прекрасно. Давайте мне вашу непротивленку! Я ее буду отпускать к моленью. Где они собираются молиться? Или они совсем не молятся?»

«Не знаю, – говорит: это дело совести, об этом не надо спрашивать».

«Конечно, мне бог с ней, как она хочет. Но как ее звать?»

«Федорушка».

«Ай, какое неблагозвучное имя!»

«Отчего же? Очень хорошо! Вы зовите ее Феодора, или даже Theodora. Чего же лучше?»

«Нет, это театрально, я буду звать ее Катя».

«Зачем же?»

«Ну, это, – говорю, – у меня такой порядок».

Marie не стала возражать и прислала мне свою непротивленку, и вообразите, девушка мне очень понравилась, и я ее наняла.

– Почему? – спросила гостья.

– Семь рублей в месяц.

– Как очень дешево.

– Да. Но она больше и не требовала. Она сама даже совсем ничего не просила, а сказала: «Сколько буду стоить, столько и положите». Я и назначила. Но позвольте, это ведь не в том дело; а она мне тогда очень понравилась, потому что действительно она выглядела такая опрятная и скромная. А я, признаться, когда услышала, что она непротивленка, то я опасалась за ее опрятность, так как в ихних книжках ведь есть против мыла, и я помню, няня читала, как на одну святую бросился бесстыжий мурын, но как она никогда мылом не мылась, то этот фоблаз от нее так и отскочил.

– Это ужасно!

– Да, все другие подверглись, а она нет; но я решительно не понимаю, неужели Толстой из-за этого против мыла?

– Ах, нет же! Вы разве забыли, из чего мыло сгущают?

– Из мясного сока.

– Ну вот и разгадка.

– Тетя! – отозвалась из-за трельяжа девушка. – Ну как вам это не стыдно говорить такие вздоры?

– А что такое?

– Из мяса мыла не варят, и притом очень много мыла делают не из животных, а из растительных жиров. Наконец есть яичное мыло, которое вы и покупаете.

– Ах, правда, правда! Точно, есть яичное мыло. Это в Казани, где был губернатор Скарятин[14]; но я его теперь не покупаю. Долго покупала и очень им мылась, но с тех пор, когда был шах персидский[15] и я узнала, что он этим мылом себе ноги моет, мне стало неприятно, и я его больше не покупаю.

– Охота была вам об этом и знать!

– Ну, отчего? Нас в институтах такой гордости не учили. И, по-моему, лучше интересоваться такими особами, чем неумойками. Я ведь помню, когда Аркадий оканчивал курс, тогда его посещали разные, и приходили и

эти непротивленьши, и все они были в этой ихней форме, тусклые и в нечищенных сапогах.

– Ужасные «малютки»! – сказала гостья.

– Да, какие-то они... все с курдючками. Подпояшутся, и сзади непременно у них делается курдючок, а лапки без калош – и натопчут. Это неопрятность! Но девушка-непротивленка ко мне пришла совсем в опрятном виде и работала превосходно, но в практической жизни все-таки она оказалась невозможна.

– Почему же?

– Да, да, да! В практической жизни много сторон, и она мне оказалась хуже всех противленок!

– Появился какой-нибудь непротивленьш?

– Куда там! Нет! Просто не отгадаете!

— Начну хоть с пустяков: пробегаю я ее паспорт и наталкиваюсь опять на то, что там стоит имя Федора. Я говорю ей:

«Моя милая, мне твое имя не нравится (я не люблю говорить людям *вы*), я буду звать тебя Катей». И она сразу же отвечает рассуждением: «Если вам так угодно, чтобы в вашем доме служанка называлась иначе, то мне это все равно: *это обычаи человеческие!*»

— Как это смешно!

— Ужасно смешно. «Обычаи человеческие»... А то еще у них есть «непосредственные обязанности к богу». Но я сама из деревенских барышень и люблю иногда с прислугой поразговаривать. Я и говорю: «Я буду звать тебя Катей, и ты должна откликаться». Отвечает: «Слушаю-с!» — «И еще, — говорю, — я тебе забыла сказать, что к твоим обязанностям тоже должно относиться, чтобы ты помогала кухарке убирать посуду и подтирала мокрою тряпкой крашенные полы в дальних комнатах». Но что же-с, полы она подтирала и мне на мой зов «Катей» откликалась, а если

кто из моих знакомых ее спросит, как ее имя, она всем упорно отвечает: «Федора». Я ей говорю: «Послушай, моя милая! Ведь тебе же сказано и ты должна помнить, что ты теперь Катя! Зачем же ты противоречишь?» А она начинает резонировать: «Я, – говорит, – сударыня, на ваше приказание откликаюсь, так как вы сказали, что это такой порядок в вашем доме, и мне это не вредит: но сама я лгать *не могу ...*» – «Что за вздор!» – «Нет, – говорит, – я лгать не могу, – мне это вредит».

– Какова штучка! – воскликнула гостья. – Она себе вредить не желает!

– О, не желает!.. Да ведь еще и как!.. Это что-то пунктуальное, что-то узкое и упрямое, как сам Мартын Иваныч Лютер. Ах, как я не люблю это сухое лютеранство! И как хорошо, что теперь за них у нас взялись. Я спрашиваю:

«Какой тебе вред? Живот, что ли, у тебя заболит или голова?»

«Нет, – говорит, – живот, может быть, не заболит, но есть вещи, которые важнее живота и головы».

«Что же это именно?»

«Душа человека. Я желаю иметь мою совесть всегда в порядке».

– Ведь это шпилька-с!

– Это прямо дерзость!

– Да; но, как брат Захар говорит, «хотя это и неприятно, но после благословенного девятнадцатого февраля – это неизбежно».

– Да, после этого февраля мы у них в руках.

– Особенно перед самым праздником. Нельзя же самим стать у своих дверей и объявлять визитерам, что нас дома нет. До этого еще вообще не дошло, но между тем непротивленская малютка это-то именно у меня и устроила.

– Да что вы?

– Факт-с!

– Право, вся надежда на градоначальника.

– Да, он их возьмет – «руки назад». В праздник я ей толком растолковала: «Катя, будут гости, ты должна всем говорить, что я дома и принимаю». И она принимала; но потом приехал Виктор Густавыч. Вы знаете, человек с его положением и в его силе, а у меня два сына, и оба несходного характера: Аркадий – это совершенная рохля, а Валерий, вы его знае-

те, – живчик. Очень понятно, что я о них забочусь, и я хотела с ним немножко поговорить о Валерии, который не попал за Аркадием, а попал в этот... университет и в будущем году кончит, без связей и без ничего...

Гостья сделала едва заметное движение.

– И вот я посадила Виктора Густавыча, подбегаю к ней и говорю: «Катя, а теперь если кто приедет, ты должна говорить: я уехала и что *меня нет дома*». Кажется, всякая дура может это понять и исполнить!

– Что же тут не исполнить!

– Да, самое обыкновенное. А она, вообразите, всем так и говорила, что «я ей *приказала говорить*, что я уехала и меня дома нет!»

– Ах ты боже мой! – воскликнула гостья и расхохоталась.

– Но вы представьте себе, что и все точно так же, как вы, на это только смеялись, а никто не обиделся, потому что ведь все же прекрасно знают, что всегда в этих случаях лгут... Это так принято... Но молодежь стала мне говорить: «Ma tante, ваша непротивленка, кажется, очень большая дура». Но я верно поняла, что это действует ее вера, и я разъяснила

всем, что это из нее торчит граф Толстой и сильно-державно показывает всем образованным людям свой огромный шиш. «Никаких-де визитов не надо! Все это глупости: лошадям хвосты трепать не для чего, а когда вам нужен моцион – мойте полы».

– Без мыла?

– Да, совершенно так просто!

– Но как же вы после этого сделали с непротивленкой?

– Я с ней объяснилась; я ей сказала: «Ты обдумай, тебя мне рекомендовали как очень хорошую девушку и христианку, а ты очень хитрая и упорная натура. Что это за выходка с твоей стороны, чтобы выдать меня за лгунью?» А она простодушно извиняется:

«Я не могла сказать иначе».

«Отчего-о-о? Бедная ты, помраченная голова! Отчего-о ты не могла сказать иначе?»

«Потому что вы были дома».

«Ну так и что за беда?»

«Я бы солгала».

«Ну что же такое, если бы ты немножко и солгала?»

«Я нисколько лгать не могу».

«Нисколько?»

«Нисколько».

«Но ведь ты *служишь!* Ты нанимаешься, ты получаешь жалованье!.. Для чего ты с такими фантазиями нанимаешься на место?»

«Я нанимаюсь делать работу, а не лгать; лгать я не могу».

С каких сторон с ней ни заговори, она все дойдет до своего «я лгать не могу» и станет.

– Какая узость, узость!

– Страшно! «Да ведь надо же, – говорю, – уметь отличать, что есть такая ложь, какой нельзя, а есть такая, которую сказать можно. Спроси у всякого батюшки».

«Нет, нет, нет! – отвечает, – я не хочу этого различать: бог с ними, я не буду их и спрашивать. В Евангелии об этом ничего не сказано, чтоб отличать. Что неправда, то все ложь, – христиане ничего не должны лгать».

– Вот я тут и вспомнила, что когда я ее нанимала, я думала, что в прислуге и вообще в низшем классе «непротивление» годится и не мешает, и даже, может быть, им оно и полезно, но и это вышло совсем не так! Вышло, что и здесь оно не годится и что этому везде надо

противодействовать!

Хозяйка сдвинула серьезно брови и сказала, что она говорила о такой «заносчивости» с батюшкой, и тот ей разъяснил, что это «плод свободного, *личного* понимания».

– Да, но какая же свобода, когда это все ужасно узко? – вставила с ученым видом гостья.

– Я с вами и согласна, и, кроме того, не все для всех хорошо.

Хозяйка постучала с угрозой по столу рукой, на пальцах которой запрыгали кольца с бирюзой, и продолжала:

– Я ведь очень помню, когда были в славе Европеус и Унковский[16]. Это было совсем не нынешнее время, и тогда случилось раз, что мы вместе в одном доме ужинали, и туда кто-то привел Шевченку... Помните, хохол... он что-то нашалил и много вытерпел; и он тут вдруг выпил вина и хватил за ужином такой экспромт, что никто не знал, куда деть глаза. Насилу кто-то прекрасно нашелся и сказал: «Поверьте, что хорошо для немногих, то совсем может не годиться для всех». И это всех

спасло, хотя после узнали, что это еще раньше сказал Пушкин, которому Шевченко совсем не чета.

– Ну, еще бы стал говорить этак Пушкин!..

– Конечно, он бы не стал, – перебила хозяйка, – он жил в обществе, и декабристы знали, что с ним нельзя затевать. А Шевченко со всеми якшался, и бог его знает, если даже и правда, что Перовский[17] сам велел наказать его по-военному, то ведь тогда же было такое время: он был солдат – его и высекли, и это так следовало. А Пушкин умел и это оттенить, когда сказал: «Что прекрасно для Лондона, то не годится в Москве».[18] И как он сказал, так это и остается: «В Лондоне хорошо, а в Москве не годится».

– В Москве теперь уже никого и нет... Катков[19] умер.

За трельяжем послышался сдержанный смех.

– Что вам смешно, Лида?

– «Катков умер». Вы это сказали так, как будто хотели сказать: «Умер великий Пан».  
[20]

– А вы на это «сверкнули», как Диана.

– Я не помню, как сверкала Диана.

– А это так красиво!

– Не знаю уж, куда и деться от всякой красоты! Я впрочем помню, что Диана покровительствовала плебеям и рабам и что у нее жрецом был беглый раб, убивший жреца, а сама она была девушка, но помогала другим в родах. Это прекрасно.

– Прекрасно!

А хозяйка покачала головою и заметила:

– Ты совершенно без стыда.

– Со стыдом, ma tante!

– Так что ж ты говоришь! Чего ж ты хочешь?

– Хочу, чтоб девушки не скучали в своем девичестве от безделья и помогали тем, кому тяжело.

– Но для чего же в родах?

– Да именно и в родах, потому что это ужасно, и множество женщин мучаются без всякой помощи, а барышни играют глазками. Пусть они помогают другим и сами насмотрятся, что их ожидает, когда они перестанут блюсти себя как Дианы.

– Позвольте, – вмешалась гостья, – я не о

той совсем Диане: я о той, которая сверкнула в лесу на острове, у которого слышали с корабля, что «умер великий Пан»[21]. Кажется, ведь это так у Тургенева?

– Я позабыла, как это у Тургенева.

Хозяйка продолжала:

– Теперь опять забывают хорошее, а причитают то, что говорят «посредственные книжки».

– А вы не обращали на эти книжки внимания Виктора Густавыча? – спросила гостя.

– О, он их презирает, но, знаете, он ведь лютеран, и по его мнению, если где есть о добре, то это все хорошо.

– Но, однако, ваша непротивленка в самом-то деле ведь и не была добра?

– Ну, так прямо я этого сказать не могу. Злою она ни с кем не была, но когда ей долго возражаешь, то я замечала, что и у нее тоже что-то мелькало в глазах.

– Да что вы?

– Я вас уверяю. Знаете, если шутя подтрунишь, так глазенки этак заискрятся... и... какое-то пламя.

– Боже мой! И для чего вы ее еще держали?

– Да, да! Я тоже раз подумала: «эге-ге, – думаю себе, – да ты с огоньком», и отпустила. Но, разумеется, я прежде хотела знать, что можно от таких людей ждать, я ее пощупала.

– Это интересно.

— Я спросила ее так: «Что же это, моя милая, стало быть, если бы при тебе в доме случилось что-нибудь такое, что должно быть тайной, что от всех надо скрыть, стало быть, ты и тогда не согласилась бы покрыть чей-нибудь стыд или грех?» Она сконфузилась и стала лепетать: «Я об этом еще не думала... Я не знаю!» Я воспользовалась этим и говорю: «А если бы тебя призвали и стали спрашивать о твоих хозяевах, ведь ты должна же... Ведь какие в старину были хорошие и верные слуги, а и те, когда приходило круто, говорили, что от них хотели». Вообразите, что она ответила:

«Это тот виноват, кто их до этого доводил».

«А если это делалось по приказу?»

«Это все равно».

— Какова!

— Да-с! Я говорю: за это можно страдать. А она отвечает:

«Лучше пострадать, чем испортить свой путь жизни».

— Каково непротивление!

– Ну вот, как видите!

– Впрочем, если смотреть по-ихнему и держаться Евангелия, то она не совсем и неправва...

– Да, она даже очень права; но ведь общество не так устроено, чтобы все по Евангелию, и нельзя от нас разом всего этого требовать.

– Да, это очень печально; но если вы это сломаете, а потом исковеркаете, то что же вы новое поставите на это место?

– Нигилисты говорили: *ничего!*

Хозяйка промолчала и сучила в пальцах полоску бумаги, а умом как будто облетала что-то давно минувшее и потом молвила:

– Да, *ничего*, они только и умели сбивать с толку женщин и обучать их не стыдясь втроем чай пить.

– А как эта непротивленка вела себя в этих отношениях?

– Вы, верно, хотите спросить о тех отношениях, о которых не говорят при Лиде...

Но отдышавшая за трельяжем Лидия к этому времени, верно, совсем подкрепилась и сама вмешалась в разговор уже не сонною речью.

– О такой женщине, как Федорушка, можно при всех и все говорить, – сказала Лида. – И притом, когда же вы, ma tante, привыкнете, что я ведь не ребенок и лучше вас знаю, не только из чего варится мыло, но и как рождается ребенок?

– Лида! – заметила с укоризной хозяйка.

– Да, конечно, ma tante, я это знаю.

– Господи!.. Как ты можешь это знать?

– Вот удивление! Мне двадцать пятый год. Я живу, читаю, и, наконец, я должна быть фельдшерницей. Что же, я буду притворяться глупою девчонкой, которая лжет, будто она верит, что детей людям приносят аисты в носу?

Хозяйка обратилась к гостье и внушительно сказала:

– Вот вам Иона-циник[22] в женской форме. И притом она Диана, она пуританка, квакерка[23], она читает и уважает Толстого, но она не разделяет множества и его мнений, и ни с кем у нее нет ладу.

– Я, кажется, не часто ссорюсь.

– Зато и не тесно дружишь ни с кем.

– Вы ошибаетесь, ma tante, у меня есть дру-

Зья.

– Но ты их бросила. Ведь тоже и непротив-  
леньши пользовались у тебя фавором, а те-  
перь ты к ним охладела.

– С ними нечего делать.

– Но ты, однако, любила их слушать.

– Да, я их слушала.

– И наслушалась до тошноты, верно?

– Нет, отчего же? Я и теперь готова послу-  
шать, что у них хорошо обдуманно.

– Прежде ты за них заступалась до слез.

– Заступалась, когда ваши сыновья, а мои  
кузены, собирали их и вышучивали. Я не мо-  
гу переносить, когда над людьми издеваются.

Хозяйка засмеялась и сказала:

– Смеяться не грешно над тем, что смешно.

[24]

– Нет, грешно, ma tante, и мне их было все-  
гда ужасно жаль... Они сами добрые и хотят  
добра, и я о них плакала...

– А потом сама на них рассердилась.

– Не рассердилась, а увидала, что они все  
говорят, говорят и говорят, а дела с воробьи-  
ный нос не делают. Это очень скучно. Если  
противны делались те, которые все собира-

лись «работать над Боклем»[25], то противны и эти, когда видишь, что они умеют только палочкой ручьи ковырять. Одни и другие роняют то, к чему поучают относиться с почтением.

– Нет, тебя уязвило то, что они идут против наук!

– Да, и это меня уязвляет.

– А я тут за них! Для чего ты, в самом деле, продолжаешь столько лет все учиться и стоишь на своем, когда очевидно, что все твое ученье кончится тем, что ты будешь подначальной у какого-нибудь лекаришки и он поставит тебя в угол?

– Ma tante, ведь это опять вздор!

– Ну, он тебя в передней посадит. Сам пойдет в комнаты пирог есть, а тебе скажет: «Останьтесь, милая, в передней».

– И этого не будет.

– А если это так случится, что же ты сделаешь?

– Я пожалею о человеке, который так грубо обойдется со мной за то, что я не имею лучших прав, и только потому, что мне их не дали.

- И тебе не будет обидно?
- За чужую глупость? Конечно, не будет.
- А не лучше ли выйти замуж, как все?
- Для меня – нет!
- А отчего?
- Мне не хочется замуж.
- Ты, однако, престранно выражаешься.

Это закон природы.

- Ну так он, верно, еще не дошел до меня.
- И религия того же требует.
- Моя религия этого не требует.
- Христос был, однако, за брак.
- Не читала об этом.
- А для чего же он благословлял жениха и невесту?
- Не знаю, когда это было.
- Читай в Евангелии.
- Там этого нет.
- Как нет!
- Просто нет, да и конец!
- Господи! да что же это... вы все, значит, уж вымарали!

Девушка тихо засмеялась.

- Нечего хихикать: я знаю, что об этом было, а если не в Евангелии, то в премудрости

Павлочтении. Во всяком случае, он был в Кане Галилейской[26].

– Ну и что же из этого?

– Значит, он одобрял брак.

– А он тоже был и у мытаря?[27]

– Да.

– И говорил с блудницей? Неужто это значит, что он одобрял и то, что они делали?

– Ты ужасная спорщица.

– Я только отвечаю вам.

– А теща Петрова! Ведь Христос ее, однако, вылечил!

– А вы разве думаете, что если б она не была чьею-нибудь тещей, так он бы ее не вылечил?

– У тебя самый пренеприятный ум.

– Да. Это многие говорят, ma tante, и это всего больше убеждает меня, что мне нельзя выходить замуж.

– Ведь вот ты, решительно и совершенно как змея, вьешься так, что тебя нельзя притиснуть.

– Ma tante, да зачем же непременно надо меня притиснуть?

– Мне очень хочется...

– Мой друг, да что же делать? Нельзя все устроить так, как вам хочется.

– Нет, я ведь не про то: я хотела бы знать, какой у вас законоучитель и как он не видит, что вы все безбожницы!

– Мы получаем у него все по пяти баллов.

– Извольте! За что же он вам ставит по пяти баллов?

– Он не может иначе: мы все отлично учимся.

– Вот ведь назрели какие характеры!

– Полноте, ma tante, что это еще за характеры! Характеры идут, характеры зреют, – они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут! «Придет весенний шум, веселый шум!»[28] Здоровый ум придет, ma tante! Придет! Мы живы этою верой! Живите ею и вы, и... вам будет хорошо, всегда хорошо, что бы с вами ни делали!

– Спасибо, милая.

– Не сердитесь, ma tante, – и Лидия Павловна вдруг оборотилась к теткиной гостье и сказала ей: – А вы хотели знать, был ли у Федоры роман? Я вам об этом могу рассказать. У нее был жених часовщик, но Федорушка ему от-

казала, потому что у нее была сестра, которая «мирилась с жизнью». У нее были «панье», брошь и серьги и двое детей. Она серьги и брошь берегла, а детей хотела стащить в воспитательный дом, но Федора над ними сжалась и платила за них почти все, что получала.

– А собственного увлечения у нее не было?

– Вот это-то и было ее собственное увлечение!

– Да, но ей будет трудно платить: с таким характером и такими правилами, как у нее, она нигде себе места не нагрееет.

– Другие помогут.

– Видите?.. Настоящие сектантки, у них все миром, – отозвалась хозяйка. – Гоните их, они не боятся и даже радуются.

– Ведь так и следует, – поддержала девушка.

– Фантазии!

– Однако так сказано: надо радоваться, когда терпим гонение за правду, и в самом деле, это очень помогает распространению идей. Нас гонят, а мы идем дальше и все говорим про хорошее все новым и новым людям...

– Ну, ты послушай, однако, сама: какая же, наконец, у самой тебя вера?

– А это такой деликатный вопрос, ma tante, которого я никому не позволяю касаться.

– Вон как уж у нас стали отвечать о вере! Это, кажется, совсем не по-нашенски.

– Да, это не по-вашенски, – рассмеявшись, ответила Лидия. – По-вашенски, «подобает во-просити входящего: рцы, чадо, како веруеши?»

Хозяйка постучала по столу веером и погрозила племяннице:

– Лида! В этот раз... что ты сказала здесь, это еще ничего, пусть это так и пройдет, но впредь помни, что у тебя есть мать и ты не должна быть помехой своим братьям в карье-ре!

– Этого, ma tante, не забудешь!

– Ну так и нечего либеральничать.

– А «како веруеши» – это разве либераль-ность?

– Это не по сезону.

– Ну, ma tante, извините: жизнь, в самом деле, дается всего один раз, и очень нерасчет-ливо ее приноравливать к какому бы то ни

было сезону... Это скоро меняется.

Сказав это, девушка встала из-за трельяжа и вышла на середину комнаты. Теперь можно было видеть, что она очень красива. У нее стройная, удивительной силы и ловкости фигура, в самом деле, напоминающая статуэтку Дианы из Танагры[29], и милое целомудренное выражение лица с умными и смелыми глазами.

Тетка на нее посмотрела, и на лице ее выразилось артистическое удовольствие; она просияла и тихо заметила:

– Желала бы я знать, где глаза у людей, которые смеют что-нибудь говорить против породы? Лида, неужели ты без корсета?

– Я хожу так постоянно.

– И стройна, как богиня. Но Валериан говорил мне, что у вас очень много уродих, и все теперь сняли кольца и решили не носить ни серег и никаких других украшений.

– Ему какая забота?

– Отчего же, его интересуется все. Но разве это в самом деле правда?

– Правда.

– И вот вы увидите, что, наверное, многие не выдержат.

– Очень может быть.

– Которой серьги к лицу, та и не выдержит – наденет.

– Что же, если и не выдержит, то, по крайней мере, поучится выдерживать, и это что-нибудь стоит. Прощайте, ma tante.

– И у кого пребезобразная фигура, той лучше корсет.

– Ma tante, ну что нам за дело до таких пустяков? До свидания.

– До свидания. Красота ты, моя красота! Я только все не могу быть покойна, что ты кончишь тем, что уйдешь жить с каким-нибудь непротивленьшем.

Лидия холодно, но ласково улыбнулась и молвила:

– Ma tante, как можно знать, что с кем будет? Ну, зато я не сбегу с оперным певцом.

– Нет! Бога ради нет! Лучше кто хочешь, но только чтоб не непротивленьш. Эти «малютки» и их курдючки... это всего противнее.

– Ах, ma tante, я уж и не знаю, что не противно!

– Ну, пусть лучше будет все противно, но только не так, как эти, которые учат, чтоб не венчаться и не крестить. Обвенчайся, и потом пусть бог тебя хранит, как ему угодно.

И тетка встала и начала ее крестить, а потом проводила ее в переднюю и тут ей шепнула:

– Не осуждай меня, что я была с тобой рез-

ка. Я так должна при этой женщине, да и тебе вперед советую при ней быть осторожной.

– О, пустяки, ma tante! Я никого не боюсь.

– Не боишься?.. Не говори о том, чего не знаешь.

– Ах, ma tante, я не хочу и знать: мне *ничего бояться*.

Сказав это, девушка заметалась, отыскивая рукою ручку двери, и вышла на лестницу смущенная, с пылающим лицом, на котором разом отражались стыд, гнев и сожаление.

Проходя мимо швейцара, она опустила вуалетку, но зоркий, наблюдательный взор швейцара все-таки видел, что она плакала.

– Эту тут завсегда пробирают! – сказал он стоявшему у ворот дворнику.

– Да, ей видать что попало! – ответил не менее наблюдательный дворник.

А хозяйка между тем возвратилась в свой «салон» и спросила:

– Как вам нравится этот экземпляр?

Гостья только опустила глаза кроткой лани и ответила:

– Все уловить нельзя, но везде и во всем сквозит живая красная нитка.

– О, да сегодня она еще очень тиха, а в прошлый раз дело чуть не дошло до скандала. Кто-то вспомнил наше доброе время и сказал, какие тогда бывали сваты, которым никто не смел отказать. Так она прямо ответила: «Как хорошо, что теперь хоть это не делается!»

– Они, из гимназий, так реальны, что совсем не понимают институтской теплоты.

– Нисколько! Я ее тогда прямо спросила, неужто ты бы не была тронута, если бы тебе подвели жениха? – так она даже вспыхнула и оторвала: «Я не крепостная девка!»

– Я говорю вам, везде красная нить. И какая заносчивость, с какою она самоуверенностью говорит о личном увлечении несчастной сестры этой Федоры!

– Она очень сострадательна к детям.

– Но что же делать, когда дети не наполняют женщине всей ее жизни?

– Ах, с детьми очень много хлопот!

– Да и даже простые, самые грубые люди при детях еще ищут забыться в любви. У меня в прачках семь лет живет прекрасная женщина и всегда с собой борется, а в результате все-таки всякий год посылает нового жильца

в воспитательный дом. А анонимный автор все продолжает, без подписи, и ничего знать не хочет: придет, отколотит ее, и что есть, все оберет. И таковы они все. Альфонсизм в наших нравах. А когда я ей сказала: «Брось их всех вон или обратись к религии: это поможет», – она меня послушала и поехала в Кронштадт[30], но оттуда на обратном пути купила выборгских кренделей и заехала к мерзавцу вместе чай пить, и теперь опять с коробком ходит и очень счастлива. Что же тут сделать? «Не могу, – говорит, – бес сильнее». Когда женщина сознает свою слабость, то с этим миришься.

– Да, миришься, потому что это наше простое, родное, русское.

– Вот, вот, вот! Это она, наша бедная русская бабья плоть, а не то что эти, какие-то куклы из аглицкой клеенки. Чисты, но холодны.

– О, как холодны! Ведь она вот стоит за детей, но она и их, заметьте, не любит.

– Да что вы?

– Я вас уверяю, она вообще о детях заботится, но никогда ими не восхищается и даже их

не целует.

– Что не целует – это прекрасно.

– Положим, конечно, это, говорят, нездорово, но она это не любит!

– Неужели?.. Ведь это всем женщинам врожденно нежить детей.

– Нежить, нет! Она допускает только заботливость, а любить, по ее рассуждению, должно только того, кто сам имеет любовь к людям. А дети к тому неспособны.

– Да разве известно, что из маленького выйдет?

– Так и она говорит: «Я не люблю *неизвестных* величин, я люблю то, что мне известно и понятно».

– Какое резонерство!

– Я и говорю: это отдает не сердцем, а математикой. Она даже не верит, что другие любят детей... «Иначе, – говорит, – не было бы таких негодяев, через которых русское имя в посмеянье у умных людей». Нашу славу и могущество они ведь не высоко ставят. И вообразите, они утверждают это на Майкове:

*Величие народа в том,  
Что носит в сердце он своем.*

Хозяйка и гостья обе переглянулись и сразу же обе задумались, и лица их приняли не женское, официальное выражение. У гостьи и это прошло прежде, и она заметила:

– В то время как мы, русские женщины, подписываем адрес *madame Adan*, не худо бы, чтобы мы протестовали против учреждений, где не внушают уважения к русским началам.

Хозяйка стала нервно сучить в руках бумажку и, сдвинув брови, прошептала в раздумье:

– Кто же это, однако, начнет?

– Не все ли равно, кто?

– Но, однако... Бывало, брат мой Лука... Он независим, и никогда не был либерал, и ему нечего за себя бояться... Он, бывало, заговорит о чем угодно, но теперь он ни за что-с! Он самым серьезным образом отвернулся от нас и благоволит к Лидии, и это ужасно, потому что у него все состояние приобретенное, и он может отдать его кому хочет.

– Неужто все это может достаться Лидии Павловне?

– Всего легче! Брат Лука к моим сыновьям не благоволит, а брата Захарика считает мо-

том и «провальной ямой». Он содержит его семейство, но ему он ничего не оставит.

Гостья встала и отошла к открытому пианино и через минуту спросила:

– А где теперь супруга и дочери Захара Семеныча?

– Его жена... не знаю в точности... она в Италии или во Франции.

– Ее держало что-то в Вене.

– Ах, это уж давно прошло! Таких держав у нее не перечесть до вечера. Но с ней теперь ведь только три дочери, ведь Нина, младшая, уж год как вышла замуж за графа Z. Богат ужасно.

– И ужасно стар?

– Конечно, ему за семьдесят, а говорят, и больше, а ей лет двадцать. Много ведь их, четыре девки. А граф, старик, женился назло своим родным. Надеется еще иметь детей. Мы ездили просить ему благословение.

– Пусть бог поможет!

– Да. На свадьбе брат Захар сказал ему: «Пью за ваше здоровье бокал, а когда моя дочь подарит вам рога, я тогда за ее здоровье целую бутылку выпью».

В ответ на это гостья оборотилась от пианино лицом к хозяйке, и лицо ее уже не дышало милою кротостью лани, а имело выражение брыкливой козы, и она, по-видимому не кстати, но, в сущности, очень сообразительно, сказала:

– Очевидно, что дело начать надо вам.

– Но Лидия мне родная.

– Потому-то это и нужно: это покажет ваше беспристрастие и готовность все принести в жертву общественной пользе, а она будет устранена от наследства.

Хозяйка смотрела на гостью околдованным взглядом. Дело соображено было верно, но в душе у старухи что-то болталось туда и сюда, и она опять покрутила бумажку и шепнула:

– Не знаю... Дайте подумать. Я спрошу ба-  
тюшку.

– Конечно, его и спросите.

– Хорошо, я спрошу.

В это время распахнулась дверь, и вошел седой, бодрый и кругленький генерал с ученым значком и с веселыми серыми пронизательными глазами на большом гладком лице, способном принимать разнообразные выражения.

Это и был брат Захар.

Хозяйка протянула ему руку и сказала:

– Ты очень легок на помине; мы сейчас о тебе говорили.

– За что же именно? – спросил генерал, садясь и довольно сухо здороваясь с гостьей.

– Как *за что*? Просто о тебе говорили.

– У нас просто о людях никогда не говорят, а всегда их за что-нибудь ругают.

– Но бывают и исключения.

– Два только: это pere Jean и pere Onthon [31].

– Ты настаиваешь на том, что это надо произносить не Antoine, а Onthon?

– Так произносят те, которые на этот счет больше меня знают и теплее моего веруют. Я сам ведь в вере слаб.

– Это стыдно.

– Что ж делать, когда ничего не верится?

– Это огорчало нашу мать.

– Помню и повиновался, а притворяться не мог. Она, бывало, скажет: «Ангел-хранитель с тобою», – и я всюду ходил с ангелом-хранителем, вот и все!

– Олимпия приехала.

– Мне всегда казалось, что ее зовут Олимпиада. Впрочем, я ею особенно не интересуюсь.

– У нее много новостей, и некоторые касаются тебя. Твоя дочь, графиня Нина, беременна.

– Да, да! Разбойница, наверное, осуществляет «Волшебное дерево» из Боккаччио[32]. Я, однако, выпью сегодня бутылку шампанского и пошлю поздравительную телеграмму графу. Кстати, я встретил на днях одного товарища моего зятя и узнал, что он старше меня всего только на четырнадцать лет.

– Какие же подробности об их житье?

– Я ничего не знаю.

– Ты разве не был еще у Олимпии?

– Я? Нет, мой ангел-хранитель меня туда

не завел. Я видел, что какая-то дама мчалась в коляске, и перед нею у кучера над турниром сзади часы. Я подумал: что это еще за пошлая баба тут появилась? И вдруг догадался, что это она. А она сразу же устроила мне неприятность: я хотел от нее спастись и прямо попал навстречу еврею, которому должен чертову пропасть.

– Бедный Захарик!

– Но слава богу, что мой хранитель бдел надо мной и что это случилось против собора: я сейчас же бросился в церковь и стал к амвону, а жид оробел и не пошел дальше дверей. Но только какие теперь в церквях удивительно неудобные правила! Представь, они открывают всего только одну дверь, а другие закрыты. Для чего закрывать? В Париже все храмы весь день открыты.

– У нас, друг мой, часто крадут... Было несколько краж.

– Какие проказники! А я через это, вообразите, несколько молебнов подряд отстоял, но жид все-таки надул. Он ждал меня у общей двери, а я с знакомым батюшкой утек через святой алтарь и, кстати, встретил Лиду. Она

была расстроена, и я, чтоб ее развеселить, все рассказал ей, как попался Олимпии, а потом жидам и, наконец, насилу спасся через храм убежища. Она развеселилась и зашла со мною выпить чашку шоколаду.

– Это ты старался ее утешить? Что за милый дядя!

– Да, но тут еще и другой был умысел. Там была одна... балерина, которой никогда не удается изобразить богиню... Я ей показал Лиду и сказал: «Смотри, дура, вот богиня!» Но кто и где обидел Лиду?

– Вот не берусь тебе ответить. Верно, «нашла коса на камень»; но она, впрочем, сама здесь говорила, что ее будто даже и «нельзя обидеть».

– Ах, это ничего более как всем противные толстовские бетизы! Уверяю вас, что всеми этими глупостями это все их Лев Толстой путает! «Da ist der Hund begraben!»[33]. Решительно не понимаю, чего этот старик хочет? Кричат ему со всех концов света, что он первый мудрец, вот он и помешался. А я решительно не нахожу, что такое в самом в нем находят мудрецовского?

– И я тоже.

– Да и никто не находит, а это все за границей. Мы с ним когда-то раз даже жили на одной улице, и я ничего премудрого в нем не замечал. И помню, он был раз и в театре, а потом у общих знакомых, и когда всем подали чай, он сказал человеку: «Поддай мне, братец, рюмку водки».

– И выпил?

– Да, выпил и закусил, не помню, баранкой или корочкой хлеба. И все это было самое обыкновенное, а потом вдруг зачудил и в мудрецы попал!.. Удача! Но я хотя и не разделяю его христианства, которое несет смерть культуре, но самого его я уважаю.

– За что же?

– Конечно, не за его премудрости! Это пустяки! Но я этих его непротивленьшей люблю, с ними так хорошо поговорить за кофе.

– Я этого не нахожу.

– Ну, нет!.. На многое они оригинально смотрят. Я не признаю, чтобы это что-нибудь из их фантазии было можно осуществить. Теперь не тот век, но отчего не поболтать? Ведь Бисмарк[34] же любил поговорить с социали-

стами. «Малютки» же эти идут наперекор социалистам.

– Как это наперекор?

– А так: непротивленьши ведь отказываются от наследств всегда в пользу родных... Это то самое, чего Петр Первый хотел достичь через майораты...[35] Это надо поощрять, чтобы не дробились состояния. А сам Толстой только чертовски самолюбив, но зато с большим характером. Это у нас редкость. Его нельзя согнуть в бараний рог и заставить за какую-нибудь бляшку бляеть по-бараньи: бя-я-я!

Генерал потравил себя пальцами за горло и издал звуки, очень рассмешившие хозяйку и гостью.

– Но зачем же у него эта несносная пронительность и для чего он так толкует, что будто ничего не нужно?

– А это скверность, но я успокоиваю себя твоею русскою пословицей: «Не так страшен черт, как его малютки».

– И я это говорю всегда: он там я не знаю где, а эти Figaro сі – Figaro la[36] разбрелись, как цыплята.

– Вот именно цыплята... Отчего это у них

так топорщится, как будто хвосты перятыся?

– А уж это надо их осмотреть и удостовериться.

– Ну, как можно их смущать!

– А они не церемонятся смущать веру.

– Мою веру смутить нельзя: в рассуждении веры я байронист; я ем устриц и пью вино, а кто их создал: Юпитер, Пан или Нептун – это мне все равно! И я об этом и не богохульствую, но его несносная на наш счет пронизательность – это скверно. И потом, для чего он уверяет, будто «не мечите бисера перед свиньями» сказано не для того, чтобы предостеречь людей, чтоб они не со всякою скотиной обо всем болтали – это глупость. Есть люди – ангелы, а есть и свиньи.

– Но только эти милые животные, надеюсь, находятся в своих местечках, где им надо быть.

– Да, им бы всем надо быть в своих закутах, но случается и иначе: бывает, что свиньи садятся в гостиных.

– О, господи! какие ужасы!

– О да! Есть много ужасов.

– Но, а есть ли зато где-нибудь ангелы?

– А есть... Вот, например, хоть такие, как наша Лида!

– Не нахожу: девчонки, которые не знают, что они такое.

– Вы, господа, пребезбожно их мучите и, можно сказать, истязаете!

– Каким это образом?

– Вы к ним пристаёте, их злите, а когда бедные девочки в нетерпении что-нибудь вам брякнут, вы это разглашаете и им вредите. По правде сказать, это подлость!

– Ни о чем таком не слыхала.

– А я, представь, слышал. Говорят, будто когда Лида пришла к тебе на бал в закрытом лифе, ты ей сделала колкость.

– Нимало!

– Ты над ней обидно пошутила: ты сказала, что она, вероятно, когда будет дамой, то и своему будущему Адаму покажет себя «кармелиткой»[37], в двойном капишоне, а она тебе будто отвечала, что к своему Адаму она, может быть, придет даже «Евой», а посторонним на балу не хочет свои плечи показывать.

– И представь, это правда, она так и сказала!

– Сказала, потому что не надо было к ней приставать. Байрон прекрасно заметил, что «и кляча брыкается, если сбруя режет ей тело», а ведь Лида не кляча, а молодая, смелая и прекрасная девушка. Для такой Евы, черт бы меня взял, очень стоит отдать все свои преимущества и идти снова в студенты.

– Ты за ней просто волочишься?

– Я не очень, а ты б послушала, какого мнения о ней на-ш старший брат Лука! Он говорит, что «провел с ней самое счастливейшее лето в своей жизни». А ведь ему скоро пойдет восьмой десяток. И в самом деле, каких она там у него в прошлом году чудес наделала! Мужик у него есть Симка, медведей все обходил. Человек сорока восьми лет, и ишиасом заболел. Распотел и посидел на промерзлом камне – вот и ишиас... болезнь седалищного нерва... Понимаете, приходится в каком месте?

– Ты без подробностей.

– Так вот его три года врачи лечили, а брат платил; и по разным местам целители его исцеляли, и тоже не исцелили, а только деньги на молитвы брали. И вся огромнейшая семья

богатыря в разор пришла. А Лидия приехала к дяде гостить и говорит: «Этому можно попробовать помочь, только надо это с терпением».

– Ну, этого ей действительно не занимать стать! – заметила с сдержанною иронией хозяйка.

– Да, она и начала класть этого мужичищу мордой вниз да по два раза в день его под поясницей разминала! Понимаете вы? Эткими-то ее удивительными античными руками да по энтакому-то мужичьему месту! Я посмотрел и говорю: «Как же теперь после этого твою руку целовать?» Она говорит: «Руки даны не для того, чтоб их целовать, а для того, чтоб они служили людям на пользу». А брат Лука... он ведь стал старик нежный и нервный: он как увидал это, так и зарыдал... Поп приходил к нему дров просить, так он схватил его и потащил и показывает попу: «Смотри! – говорит, – видишь ли?» Тот отвечает: «Вижу, ваше высокопревосходительство!»

«А разумеешь ли?»

«Разумею, – говорит, – ваше высокопревосходительство! Маловерны только и ко храму леностны, но по делам очень изрядны».

«То-то вот и есть „очень изрядны“! А ты вот и молись за них в храме-то. Это твое дело. А я тебе велю за это дров дать».

«Слушаю, – говорит, – ваше высокопревосходительство! Буду стараться!»

– И ничего небось не старался?

– Ну, разумеется: дурак он, что ли, что будет стараться, когда дрова уже выданы? А только Симка-то теперь ходит и опять детей своих кормит, а Лиду как увидит, сейчас плачет и пищит: «Не помирай, барышня! Лучше пусть я за тебя поколею... Ты нам матка!» Нет, что вы ни говорите, эти девушки прелесть!

– Только с ними человеческий род прекратится.

– Отчего это?

– Не идут замуж.

– Какой вздор! Посватается такой, какого им надо, и пойдут. А впрочем, это бы еще и лучше, потому что, по правде сказать, наш брат, мужчанишки-то, стали такая погань, что и не стоит за них и выходить путной девушке.

– Пусть и сидят в девках.

– И что за беда?

– Старые девки все злы делаются.

– Это только те, которым очень хотелось замуж и их темперамент беспокоит.

– Дело совсем не в темпераменте, а на старую девушку смотрят как на бракованную.

– Так смотрят дураки, а умные люди наоборот, даже с уважением смотрят на пожилую девушку, которая не захотела замуж. Да ведь девство, кажется, одобряет и церковь. Или я ошибаюсь? Может быть, это не так?

Хозяйка улыбнулась и отвечала:

– Нет, это так; но всего любопытнее, что за девство вступаешься ты, мой грешный Захарик.

– А что, сестрица, делать? Теперь и я уже не тот, и в шестьдесят пять лет и ко мне, вместо жизнерадостной гризетки, порою забегаёт мысль о смерти и заставляет задумываться. Ты не смейся над этим. Когда и сам дьявол постареет, он сделается пустынным. Посмотри-ка на наших староверов, не здесь, а в захолустьях! Все ведь живут и согрешают, а вон какая у них есть отличная манера: как старичку стукнет шестьдесят лет, он от сожигательницы из чулана прочь, и даже часто высылается совсем из дому. Построит себе на огороде «хижину», под видом баньки, и поселяется там с нарочитым отроком, своего рода «Гиезием», и живет, читает Богословца или *Ключ разума*[38], а в деньгах и в делах уже не участвует, вообще не мотрошится на глазах у молодых, которым надо еще в жизни свой черед отвести. Я это, право, хвалю. Пус-

кай там и говорят, будто отшельнички-старички раз в недельку, в субботу, по старой памяти к своим старушкам в чулан заходят, но я верю, что это они только приходят чистое бельецо взять... Милые старички и старушечки! Как им за то хорошо будет в вечности!

– Бедный Захарик! Может быть, и ты так хотел бы?

– О, без сомнения! Но только куда нам, безверным! А кстати, что это я заметил у твоего Аркадия, кажется, опять новый отрок?

Хозяйка сдвинула брови и отвечала:

– Не понимаю, с какой стати это тебя занимает?

– Не занимает, а я спросил к слову о Гиезии, а если об этом нельзя говорить, то перейдем к другому: как Валерий, благополучно ли дошибает свой университет?

– А почему же он его «дошибает»?

– Ну, да, кончает, что ли! Будто не все равно? Не укусила ли его какая-нибудь якобинская бацилла?

– Мой сын воспитан на здоровой пище и бацилл не боится.

– Не возлагай на это излишних надежд: до-

машнее воспитание все равно что домашняя температура. Чем было в комнате теплее, тем опаснее, что дети простудятся, когда их охватит.

– Типун тебе на язык. Но я за Валерия не боюсь: его бог бережет.

– Ах да, да, да, ведь он «тепло-верующий!»

– Такими вещами не шутят. Мы, русские, все тепло верим.

– Да, мы теплые ребята! Но постойте, господа, я видел картину Ге![39]

– Опять яичница?

– Нет. Это просто *бойня!* Это ужасно видеть-с!

– Очень рада, что его прогоняют с выставок. Мне его самого показывали... Господи! Что это за панталоны и что за пальто!

– Пальто поглотило много лучей солнца, но это еще не серьезно.

– А ты находишь, что его мазня – это серьезно?

– Я говорю не о мазне, а о фраке.

– Что за вздор!

– Это не вздор. Он должен был представиться и не мог, потому что подарил свой

фрак знакомому лакею.

– Но почему это узнали?

– Он сам так сказал.

– Как это глупо!

– И дерзко! – поддержала гостья.

А генерал заключил:

– Это *замечательно!* Теперь просто говорят: «замечательно!»

– А почему замечательно?

– А потому замечательно, что эти, – как вы их кличете, – «непротивленыши!» или «малютки», все чему-то противятся, а мы, которые думаем, что мы *сопротивленцы* и взрослые, – мы на самом деле ни на черта не годны, кроме как с тарелок подачи лизать.

– Ну, – пошутила хозяйка, – он опять договорится до того, что кого-нибудь зацепит!

И, проговорив это, она снисходительно вздохнула и вышла как бы по хозяйству.

В гостиную остались вдвоем генерал и гостья, и тон беседы сразу же изменился.

Генерал сдвинул брови и начал отрывистую речь к гостье:

– Я предпочел видеться с вами здесь, потому что ваш больной муж вчера приходил ко мне и был неотступен. Это с вашей стороны, позвольте вам сказать, сверх всякой меры жестоко – рассылать больного старика по таким делам!

– По каким «таким делам»?

– Которым на языке порядочных людей нет имени.

– Я ничего не понимаю, но я писала вам письмо, а вы, как неаккуратный человек, на него не отвечали.

– Позвольте, но чтобы прислать вам удовлетворительный ответ на ваше письмо, надо было доставить вам тысячу рублей.

– Да.

– Вот то и есть! А я не шах персидский, которому стоит зацепить горсть бриллиантов, и дело готово.

Дама позеленела и, сверкая злобой, спросила:

– Что это значит? К чему здесь при мне второй раз вспоминают персидского шаха?

– А я почему могу знать, отчего его при вас вспоминают? Мне только кажется, что есть люди, которым я уже давно сделал все, что я мог, и даже то, чего не мог и чего ни за что не стал бы делать, если б это грозило неприятностями только одному мне, а не другим людям.

Генерал, видимо, сердился и говорил запальчиво:

– Минуло двадцать лет, как ваш муж так удивительно узнал, когда я был у вас и... Я спасся и спас вас, да не спас мою памятную книжку, и вот я берегу людей...

– О! вы еще все возитесь с этой жалобной сказкой?

– Позвольте: я вожусь! Я не подлец, и потому я вожусь и делаю для вас подлости, чтобы только перетерпеть все на себе самом. Прошу за вас особ, с которыми я не хотел бы знаться, но вам все *мало*. Скажите же, когда вам будет, наконец, довольно?

– Другие получают больше!

– Ах, вот, зачем другие больше? Ну, уж это вы меня простите! Я этих дел не знаю, за что кого и по сколько у вас одевают. Может быть, другие искуснее вас... или они усерднее и оказывают больше услуг.

– Пустое! Никто ничем не может услужить. Уху нельзя сварить без рыбы...

– Ну, я не знаю!.. «Без рыбы»! Господи! Неужто уж совсем не стало рыбы?

– Вообразите, да! Безрыбье!

– Ну, я теперь не знаю, что заведете делать!.. Я вам сказал, что этих ваших дел решительно не знаю! Всем грешен, всем, но этою мерзостью не занимался!

Генерал высоко поднял руку и истово перекрестился.

– Вот! – сказал он, нервно доставая из кармана конверт и подавая его даме. – Вот-с! Возьмите, пожалуйста, скорей. Здесь ровно тысяча рублей. Я бедный, прогорелый человек, но ничего из чужих денег не краду. Тысяча рублей. Это для вас пособие, которое я выпрашиваю второй раз в году. Только, пожалуйста, пожалуйста, не благодарите меня! Я делаю это с величайшим отвращением и про-

шу вас...

Дама хотела что-то сказать, но он ее перебил:

– Нет, нет! Прошу вас, не присылайте больше ко мне своего несчастного мужа! Умоляю вас, что у меня есть нервы и кое-какой остаток совести. Мы его с вами когда-то подло обманывали, но это было давно, и тогда я это мог, потому что тогда он и сам в свой черед обманывал других. Но теперь?.. Этот его рамо-литический[40] вид, эти его трясущиеся колени... О господи, избавьте! Бога ради избавьте! Иначе я сам когда-нибудь брошусь перед ним на колени и во всем ему признаюсь.

Дама рассмеялась и сказала:

– Я уверена, что вы такой глупости никогда не сделаете.

– Нет, сделаю!

– Ну так я ее не боюсь.

По лицу генерала скользнула улыбка, которую он, однако, удержал и молвил:

– Ага! значит, это для него не было бы новостью! О господи! Разрази нас, пожалуйста, чтобы был край нашему проклятому беспутству!

– А вы в самом деле болтун!

Улыбка опять проступила на лице генерала, и он, встав, ответил:

– Да, да, я большой болтун, это «замечательно»!

Он с нескрываемым пренебрежением к гостю надел в комнате фуражку и вышел, едва удостоив собеседницу чуть заметного кивка головою.

В передней к его услугам выступила горничная с китайским разрезом глаз и с фигурой фарфоровой куклы: она ему тихо кивнула и подала пальто.

– Мерси, сердечный друг! – сказал ей генерал. – Доложите моей сестре, что я не мог ее ожидать, потому что... я сегодня принял лекарство. А это, – добавил он шепотом, – это вы возьмите себе на память.

И он опустил свернутый трубочкою десятирублевый билет девушке за лиф ее платья, а когда она изогнулась, чтобы удержать бумажку, он поцеловал ее в шею и тихо молвил:

– Я стар и не позволяю себе целовать женщин в губки.

С этим он пожал ей руку, и она ему тоже.

Внизу у подъезда он надел калоши и, покопавшись в кармане, достал оттуда два двугривенных и подал швейцару.

– Возьми, братец.

– Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! – благодарил швейцар, держа повоенному руку у козырька своего кокошника.

– Настоящие, братец... Не на Песках деланы... Смело можешь отнести их в лавочку и потребовать себе за них фунт травленого кофе. Но будь осторожен: он портит желудочный сок!

– Слушаю, ваше превосходительство! – отвечал швейцар, застегивая генерала полостью извозчичьих саней. Но генерал, пока так весело шутил, в то же время делал руками вокруг себя «повальный обыск» и убедился, что у него нигде нет ни гроша. Тогда он быстро остановил извозчика, выпрыгнул из саней и пошел пешком.

– Пройдусь, – сказал он швейцару, – теперь прекрасно!

– Замечательно, ваше превосходительство!

– Именно, братец, «замечательно»! Считаю за мной рубль в долгу за остроумие!

Он закрылся подъеденным молью бобром и завернул на своих усталых и отслужившихся ногах за угол улицы.

Когда он скрылся, швейцар махнул вслед ему головою и сказал дворнику:

– Третий месяц занял два рубля на извозчика и все забывает.

– Протерть горькая! – отвечал, почесывая спину, дворник.

– Ничего... Когда есть, он во все карманы рассует.

– Тогда и взыщи.

– Беспременно!

Гостья, как только осталась одна, сейчас же открыла свой бархатный мешок, и, вытащив оттуда спешно сунутые деньги, стала считать их. Тысяча рублей была сполна. Дама сложила билеты поаккуратнее и уже хотела снова закрыть мешок, как ее кто-то схватил за руку.

Она не заметила, как в комнату неслышными шагами вошел хорошо упитанный, розовый молодой человек с играющим кадыком под шеей и с откровенною улыбкою на устах. Он прямо ловкою хваткой положил руку на бронзовый замок бархатной сумки и сказал:

– Это арестовано!

Гостья сначала вздрогнула, но мгновенный испуг сейчас же пропал и уступил место другому чувству. Она осветилась радостью и тихо произнесла:

– Valerian! Где был ты? Боже!

– Я? Как всегда: везде и нигде. Впрочем, теперь я прямо с неба, для того чтобы убрать к себе вот этот мешочек земной грязи.

Дама хотела ему что-то сказать, но он по-

казал ей пальцем на закрытую дверь смежной комнаты, взял у нее из рук мешок и, вынув оттуда все деньги, положил их себе в карман.

Гостья всего этого точно не замечала. Глядя на нее, приходилось бы думать, что такое обхождение ей давно в привычку и что это ей даже приятно. Она не выпускала из своих рук свободной руки Валериана и, глядя ему в лицо, тихо стонала:

– О, если бы ты знал!.. Если бы ты знал, как я истерзалась! Я не видала тебя трое суток!.. Они мне показались за вечность!

– А-а! что делать? Я этих деньков тоже не скоро забуду! Куда только я не метался, чтобы достать эту глупую тысячу рублей! Нет, теперь я убежден, что самое верное средство брать со всех деньги, это посвятить себя благодетельствованию бедных! Еще милость господня, что есть на земле дураки вроде oncle Zacharie[41].

– Оставь о нем!

– Э, нет! Я благодарен: он уже во второй раз дает нам передышку.

– Но не доведи себя до этого, мой милый, в

третий.

– Если я так же глупо проиграюсь еще раз, то я удавлюсь.

– Какой вздор ты говоришь!

– Отчего же? Это, говорят, очень приятная смерть. Что-то вроде чего-то... Смотрите, вот у меня про всякий случай при себе в кармане и сахарная бечевка. Я пробовал: она выдержит.

– О боже! Что ты говоришь! – и, понизив голос, она прошептала: – *Avancez une chaise!*.. [42]

Молодой человек сделал комическую гримасу и опять молча показал на завешенную дверь.

Дама сморщила брови и спросила шепотом:

– Что?

Молодой человек приложил ко рту ладони и ответил в трубку:

– Матап здесь подслушивает!

– И все это неправда! Ты очень часто клеветешь на свою мать!

Валериан перекрестился и тихо уверил:

– Ей-богу, правда: она всегда подслушивает.

– Как тебе не стыдно!

– Нет, напротив, мне за нее очень стыдно, но я ее и не осуждаю, а только предупреждаю других. Я знаю, что она делает это из отличных побуждений... Святые чувства матери...

– Approchez-vous de moi[43], милый!

– Значит, вы не верите, что она слышит?..

Ну, я ее сейчас кликну...

– Пожалуйста, без этих опытов!

– Лучше поезжайте скорее домой, и через двадцать минут...

– Ты будешь?

Он согласно кивнул головой.

Она сжала его руку и спросила:

– Это не ложь?

– Это правда, но не надо царапать ногтями мою руку.

– Когда же я не могу!

– Пустяки!

– Поцелуй меня хоть один раз!

– Еще что!

– Но отчего же!

– Ну, хорошо!

Молодой человек поцеловал ее и встал с места: он очень хотел бы, чтобы его дама сей-

час же встала и ушла, но она не поднималась и еще что-то шептала. Ее дальнейшее присутствие здесь было ему мучительно, и это выразилось на его искаженном злостью лице. И зато он взял ее руку и, приложив ее к своим губам, сказал:

– Lilas de perse[44] – это мило: я люблю этот запах!

Дама вспрыгнула и, сжав рукой лоб, покачнулась.

– Что с вами? – спросил ее Валериан. – Спешите на воздух!

Она взглянула на него исподлобья и прошипела:

– Это низко!.. это подло!.. это бесчестно!.. После того когда я тебе это откровенно объяснила... ты не имеешь права... не имеешь пра... ва... пра... ва...

– Бога ради только без истерики!.. Вам нужно скорее на воздух!

– Воздух... пустяки... Я все это должна была выполнить...

– Ну да... и выполнила... Поезжай скорей домой, и все будет прекрасно.

При этом обрадовании она опять взяла его

руку и прошептала:

– Ну да... О, боже! Но если ж я тебе уже все рассказала, для чего это так было нужно, то для чего ж говорить: «lilas de perse»! Ведь это низко!.. Я всем скажу... вот именно... как это низко... А я отсюда не уйду...

– Да, да! Пожалуйста останьтесь: тамап сейчас придет.

И он встал с места, но она его удержала.

– Я, верно, схожу с ума! – произнесла она, приложив к бьющимся вискам тыльную сторону своих стынувших пальцев, и повторила: – Помогите! Я, право, схожу с ума!

Валериан испугался страдальческого выражения ее лица и начал ее крестить. Она с негодованием его оттолкнула и прошептала:

– Креститель!

– Что ж тебе надо?

– Мне? Унижения и новых обид! Мне нужно, чтобы ты был со мною!

– Но я же с тобою!

– О-о, конечно, не здесь!

– Ну и поезжай скорее домой, и я сейчас буду, и там падай, как хочешь.

– Как я хочу... Меня стоит убить!..

Она хотела сказать что-то еще, по вместо того поцеловала его руку, а он, с своей стороны, нагнулся к ней и прикоснулся губами к вьющейся на ее шее косичке.

Искаженное лицо женщины озарилось румянцем чувственного экстаза, и она поспешно закрыла себя вуалью и вышла. По ее щекам текли крупные, истерические слезы, и ее глаза померкли, а губы и нос покраснели и выпятились, и все лицо стало напоминать вытянутую морду ошалевшей от страсти собаки.

Она догадалась, что она гадка, и закрылась вуалем.

Когда она проходила мимо швейцара, тот молча подал ей хранившееся у него за обшлагом ливреи письмо с адресом «живчика», а она бросила ему трехрублевый билет и села в сани, тронув молча кучера пальцем.

– Инда земли не видит от слез! – заметил своему собеседнику швейцар. – А ему хоть бы что!

– Да, нонче себя мужской пол не теряют напрасно.

Молодой Валериан собственноручно запер дверь за дамою и, возвратись в гостиную, вынул из кармана панталон скомканные деньги и начал их считать.

Из-за двери, на которую Валериан указал госте, в самом деле послышался голос его матери. Она спросила:

– Ты что-то делаешь?

– Да я уж сделал.

– Ты можешь купить «промышленные»: все уверяют, что они к весне сыграют вдвое.

– Матап, я знаю кое-что повыгоднее.

– А что такое, например?

– Ну, мало ли! Теперь ведь посыпают персидским порошком ростовщиков, и даже наш «взаимный друг» Michel окочурился... В их место нужно же нечто новое.

– Вот то и есть, но что же именно?

– Ах, матап! Это возможно только тому, кого, как меня, считают беззаботным мотом, у которого нет ничего за душою.

За дверью что-то резали и положили ножицы.

– Вы, тамап, что-нибудь шьете?

– Да, мой сын, я зашиваю свои дыры, я чинюсь... подшиваю лохмотья, которых не хочу показать моей горничной.

– Это, тамап, очень благоразумно и благородно.

– Но неприятно.

Юноша хотел что-то ответить, но промолчал, и только кадык у него ходил, клубясь яблоком.

За дверью опять послышалось, как что-то отрезали ножницами и снова положили их на место, и в то же время хозяйка сказала:

– Я думаю, что ты гораздо больше бы выиграл, если бы помог дяде Захару поправить увлечения его молодости. Лука это наверное бы оценил и стал бы принимать нас.

– Очень может быть, тамап, но я ведь не самолюбив и не падок на то, чтобы хвалиться, где меня принимают.

– Но он бы тебе просто дал много денег.

– Что ж, я очень рад, но только как это сделать?

– Надо взять бумагу, которой боится дядя Захар.

– То есть, милая мама, ее ведь надо украсть!

– У тебя такая грубость, что с тобой нельзя говорить.

– Мама, я ничего не грублю, а я только договариваю то, что надо сделать.

– Неправда. Эта женщина сама все тебе сделает.

– Э-э! ошибаетесь! Эта женщина есть превосходный агент и превосходный математик, но ее же не оплетеши.

– Однако же она считает тебя игроком и мотом.

– Да, мама, но я употребляю очень большие усилия, чтобы устроить себе такую репутацию, только из-за того, что это должно сослужить мне службу при новом курсе.

– Сказать по совести, я ничего не понимаю, для чего это нужно.

– А кажется, что проще! Все уже вкусили «доблего» жития, и оно, наконец, надоело... Что делать? Род людской неблагодарен и злонаправен... *Felicitas temporum*[45] откланивается... Нужен реванш... есть потребность в реакции...

– И что же будет в реакции?

– Это, тамап, еще неясно, но известно всем, что явления не повторяются, а после дождичка бывает ведро, и потому прослыть мотом и кутилой теперь все-таки выгодно – это значит обнаружить в себе известную благонадежность, которая пригодится очень скоро.

– А вы уже на все готовы!

– Как же вы хотите иначе? Ведь мы же так и натасканы, чтоб быть на все готовыми.

– Скажи, однако, как не мудрена ваша мудрость!

– Ах, тамап, что такое нам мудрость? Уж фельетонисты, и те где-то вычитали и повторяют, что «блага мудрость с наследием», а ведь вы с папашею нам наследия не уготовили.

– Христианские родители и не обязаны снабжать вас наследием.

– Нет-с, извините-с, обязаны!

– Где же это сказано?

– А вот в «премудрости Павла чтение», на которое любят ссылаться; там это и сказано: «не дети должны собирать имение для роди-

телей, но родители для детей».

– Это что-нибудь из толстовского, в простом этого нет!

– Извините-с! Не угодно ли посмотреть в самом в простом второе послание к коринфянам двенадцатая глава?

– Откуда ты все это знаешь, где и какая глава?

– Га! Я интересуюсь-с! Я хочу этим побить Толстого!

– Так и бей! Это прекрасно тебя выставит.

– Позвольте-с, – придет время.

– Какого еще надо время: он надоел.

– Прекрасно-с, но ничего не надо делать даром... Из их похвал не шубу шить. С тех пор как изобретены денежные знаки, за всякие услуги надо платить: я из руки выпускаю услугу, а ты клади об это самое место денежный знак.

– Но ты бы мог и получить наследие.

– Ах, вам все не идет из головы дядя Лука!

– Именно не идет.

– Ну, я вас успокою: с наследством этим все кончено: «оставь надежду навсегда!»[46]

– Ты этого не можешь знать.

– Нет, знаю. Я это купил, родная, у нотариального писаря. Все отдано на «питательные учреждения» и «открытое научение».

– Ты шутишь!

– Нисколько-с.

– А Лидия?

– Ей не нужно; она не хочет возбуждать зависти и ссор, и отказалась.

– Вот дура!

– И вредная! не отдала родным!

– Но этого нельзя допустить!

– Не надо бы-с!

– Что ж делать?

– Надобно спастись, чем знаете, хоть даже чудом!

– Теперь ты веришь в чудо?

– О да, татап!.. Я верю во все, во что угодно: я жить хочу.

*И жить, я чувствую, я буду!  
Хоть чудом, – о, я верю чуду!*

Я вам даже нечто и больше скажу, но это между нами.

– Пожалуйста.

– Надо проводить нового чудотворца.

– Какие пустяки!

– Нет-с: это надо. И у меня такой есть!

– Но что же он может делать?

– Не беспокойтесь!.. маленькие вещицы он уже делает, и очень недурно, но надо его хорошо вывести и хорошо рекомендовать. О, я знаю, что надо в жизни!

Мать и сын умолкли. Казалось, они оба вдруг устали от всех перебранных ими впечатлений и тяжести такого решения, после которого каждым из них ощущалась потребность в каком-нибудь внешнем толчке и отвлечении, и за этим дело не стало. В эти самые минуты, когда мать и сын оставались в молчании и ужасе от того, на что они решились, с улицы все надвигался сгущавшийся шум, который вдруг перешел в неистовый рев и отогнал от них муки сознания. Валерий все еще был погружен в соображения, но хозяйка встревожилась и оживилась: она выбежала в беспорядочном туалете в гостиную, бросилась к окну и закричала:

– Смотри, какая толпа!

Валериан лениво потянулся как бы спросонья и отвечал сквозь зубы:

– Нелепая толпа, тамап, не стоит и смотреть!

– Да, но, однако, это трогательно!

– А я так думаю – нимало.

– Но да, но все-таки ведь это вера!

– Не знаю, право!

– А вообрази, наш швейцар: он, должно быть, совершенный нигилист.

– Он, кажется, когда-то славился другим.

– А именно?

– Он помогал переводить нигилистов. О нем знает ваш генерал.

– Но как же, – я его спрашиваю, – что это значит? А он отвечает: «Необстоятельный народ-с мечется, а не знает чего».

– Он, однако, умно вам ответил.

– Ну, полно, пожалуйста! Но что за глупые, вправду, чего они все разом хотят?

– Вероятно, они хотят, чтоб их вытолкали и побили.

– И какие гадкие: испытые, оборванные!

– Ну да, труждающиеся и обремененные. Тут, верно, где-нибудь Jean или Onthon.

– Гляди, пожалуйста: вот и эта бойкая женщина, на которую жалуются. Взаправду, смотри, как она их царапает!

Валериан встал и оживился.

– А-а! – сказал он, улыбаясь, – вот к этой я неравнодушен. Это личность с характером, ее зовут как-то вроде Елизавет Воробей[47]; она

вывозит знаменитость в свет, и бьет, и царапает ту самую публику, которая сделала им всю ихнюю славу. По-моему, она да Мещерский[48] только двое и постигли, что нужно людям, которые не знают, чего хотят. Пойду посмотреть, как она этих олухов луцтит!

Walerian вышел в переднюю, где было темно, но у лампы возилась со спичками та самая красивая горничная с китайскими глазками, которая несколько времени назад ласково позволяла генералу целовать ее в шею. Увидав ее, Walerian поморщился и стал надевать перчатки.

Девушка бросила спички и хотела уйти, но опять остановилась. Она была беспокойна, и лицо ее разгоралось и принимало дерзкое выражение.

Молодой человек это заметил и, вскинув на голову фуражку, стал сам надевать без помощи свое пальто.

Девушка посмотрела на него искоса и решилась ему помочь. Она взяла у него из рук пальто, но едва лишь он начал вздевать его в рукава, как она бросила пальто на пол и исчезла за вешалкой, где была маленькая дверь

в каютку, служившую ей помещением. Из этой каютки на парадную лестницу выходило маленькое зеркальное окошечко, затянутое голубою тафтой.

– Свинья! – прошептал вслед ей Валериан и, подняв с полу пальто, отряхнул и надел его без посторонней помощи, а потом, выйдя на лестницу, торопливо побежал вниз по ступеням. Но быстрота его не спасла, и вслед ему из окна раздалось:

– Ишь, сторбил как виноватую спину! Думает, не знаю, куда поспешает! Драть бы вас с вашим старухам-то!

Но Валериан убежал и старался не слушать о том, чего, надо думать, он заслужил.

Внизу лестницы встретились два брата: Аркадий и Валерий, «рохля» и «живчик». Аркадий (рохля) был старше Валерия (живчика) лет на шесть и гораздо его солиднее. Он был тоже породистый «полукровок»: как Валерий, пухлый и с кадыком, но как будто уже присел на ноги. С лица он походил разом на одутловатое дитя и на дрессированного волка. От него пахло необыкновенными духами, напоминавшими аромат яблочных зерен.

Дверь материнной квартиры рохля нашел незакрытой. Так она оставалась после недавнего выхода Валериана. Аркадий презрительным тоном обратил на это материню внимание. Та пожала плечами и сказала:

– Что ж делать? Мы ведь даже не вольны в нашей прислуге. Принять и отпустить человека – целая процедура, и люди это знают и не боятся, а позволяют себе все что угодно.

Аркадий перебил:

– Надо, чтобы Валериан не ставил себя в такое положение, чтобы зависеть от женщины!

Мать махнула рукой и сказала:

– Ах, уж оставь говорить против женщин!

Из комнатки за вешалкой как бы в ответ на это слышалось тихое истерическое всхлипывание.

Хозяйка встала и заперла эту дверь и снова села.

– Я всегда буду говорить, что женская прислуга никуда не годится, – произнес тихо Аркадий.

– Она дешевле и полезнее, – отвечала мать.

– Зато вот и терпите ее выходки.

– Ах, я уж и не знаю, от каких выходок хуже! Мне кажется, от всех этих впечатлений можно сойти с ума!

– Это всегдашняя ваша песня, тамап... Но зачем вы за мной посылали?

– У меня был брат Захар... Когда ж это кончится?

– Да что такое? Дядя вечно болтает... Он известный болтун!

– Пусть он болтун, но ты не порть свою карьеру. Я за тебя дрожу!

– Да нечего вам дрожать, тамап! То время, когда шантаж был развит, прошло. Теперь

все в низшем классе знают, что за шантаж есть наказание, и к тому же я и сам не хочу здесь больше оставаться, где этот *tabulator elegantissimus*[49] невесть что обо всех сочиняет. Тетя Олимпия сама взялась мне уладить это с Густавычем. Его зятя переведут на Запад, а я получу самостоятельное назначение на Востоке.

– О, пусть бы она хоть этим загладила свой грех передо мною!

– Какой же это грех?

– Грех? Несчастье всей моей жизни.

– Ах, это что-нибудь такое, чего мы, как дети, не должны знать!

– Вы не знаете ничего, кроме того, что вас самих касается. Но когда же она тебя устроит?

– Сегодня... может быть, сейчас! Если я получу назначение, то танта Олимпия сюда заедет... Да вот и она, – добавил он, взглянув в окно на улицу, – я вижу, у подъезда ее коляска и кучер с часами на пояснице.

Рохля пошел в переднюю и открыл дверь на лестницу, по которой поднималась пожилая, очень массивная дама в тальме дипломатического фасона, который, впрочем, очень

любят и наши кухарки. Под меховую тальмой, представляющей как бы рыцарскую мантию, на могучей груди дамы сверкала бисерная кираса[50]. Дама немножко тяжело дышала, но поднималась бодро и говорила, улыбаясь, «рохле»:

– Смотри, мне скоро шестьдесят пять лет, а мое сердце работает еще как добрый кузнец.

При этом она взяла руку племянника и приложила ее к своей кирасе, а потом, войдя в переднюю, подставила хозяйке свою щеку для поцелуя и продолжала:

– Прости, я к вам на минуту: взойду, но не разденусь. Я лишь затем, чтобы вас обрадовать: Аркадий, ты назначен! Ступай, сейчас ступай благодари! Это его свяжет и отрежет ему путь к отступлению.

– Сейчас, ma tante, – отвечал Аркадий и стал искать свое пальто.

Из-за вешалки показалась оправившаяся горничная, но Аркадий судорожно от нее уклонился и спешно вышел.

Олимпия это заметила и, входя в гостиную, сказала с улыбкой:

– Он все еще по-прежнему... такой же

шут... боится женщин!

– Ах!

Хозяйка махнула рукой.

– Э, милая, не стоит думать!.. Это теперь совсем не так необыкновенно! Но хорошо, однако, что *il ne met plus de manchettes*[51]. Теперь он все-таки похож как все люди. Но, однако, *adieu!*[52] Я к тебе, может быть, еще заверну поговорить по душе, а пока у меня миллион дел. Вы все ведь здесь уснули! Так нельзя! Вы просто *дряхнете*, как это говорят, и притом жуете онуч... Вас надо будить! Куда ни взглянешь, везде всех надо будить. Ваш сон ужасно затрудняет все славянство. Святая Русь есть сила мира, и это будет ее имя: *Silamira!* Но это еще пока спящая сила! Со временем это будет не так! Тогда не надо будет приходить с Запада и толкать вас, как теперь, когда вы начинаете очень скандально сопеть и храпеть...

– Да, но у нас теперь все веруют!

– А по-моему, вы даже плохо и веруете: вы веруете все как-то сонно... точно во сне... точно вы насилу плывете и насилу веруете, и того и гляди, сейчас куда-то опуститесь и все позабудете... Прощай! До свидания!.. Ты, разуме-

ется, уже слышала, что сделала Нина, Захарова дочь?

– Говорят, будто она... будет матерью.

– Чего там: «говорят»! Это факт! Конечно, она будет матерью... Но как это случилось?.. Ведь граф так стар и так глуп, что он женился только назло своим дочерям Гонерилье и Регане...

– Какая безнравственность!

– Нет, да ты, вероятно, еще не все знаешь? *C'est un inceste!*..[53] Ей поручили отвезти племянника, который еще до сих пор кадет или что-то подобное...

– О боже! Боже!

– Да, именно уж это настоящий *criminal conversation de Byzance!*[54]

И она замотала руками и головой и пошла к двери, но хозяйка удержала ее у порога и сказала:

– Ты много сделала, что устроила опять Аркадия, но я боюсь – что, если он взаправду сумасшедший?

– Оставь и будь спокойна, – ответила Олимпия, – помни, что говорил Оксенштиерна[55]: «Не велик ум надо, чтобы делать поли-

тику».

Олимпия прижала ладони к своей кирасе и добавила:

– Это совсем не наша обязанность, чтобы поставлять умы для всего света, а наше *metier* совсем иное, и оно все в том, чтобы насыпать соли на хвост всем, кто рвется вперед.

Объяснив свое призвание, дама еще раз щелкнула себя по кирасе и, встряхнув руку хозяйке аглицкою встряской, сошла вниз, села в коляску наискось против часов, торчавших на пояснице кучера, и понеслась *jouer un tour de son metier*[56].

Хозяйка осталась одна и сейчас же спросила себе пальто и калоши, взяла в карман флакон с нюхательной солью и ушла из дома, сказав, Что хочет сделать покупки в «бракованной лавке».

Она чувствовала ту ужасную усталость, о какой может иметь понятие только актриса, исполняющая роль, которая не спускает ее целый акт со сцены.

Она была очень утомлена, почти измучена, но в ней еще много силы для таких же боений. Она скоро оправится на воздухе и будет в состоянии дать наилучший отчет на своем месте.

А пока кошка в отсутствии, без нее начинают шалить домашние мыши.

По уходе хозяйки горничная с китайскими глазами и фигуркой фарфоровой куклы прошла по всем комнатам и везде открыла форточки, а потом отдернула портьеру и отворила дверь из гостиной в будуар, который служил тоже хозяйке и ее кабинетом и тайником. Здесь девушка убрала беспорядок, потом

вынула из кармана подобранный ключик, открыла им стол и, достав оттуда надушенный листок слоновой бумаги, зажгла свечи и начала выводить:

«Если предложения ваши обстоятельны, то хотя ваши лета и не сходны, но за вежливость вашу я согласна иметь для вас полные чувства, только никак не в вашем собственном доме и не при ваших людях».

Она перечитала написанное и внизу после своей подписи еще приписала:

«Только пожалуста с ответом по почте».

Написав это письмо, девушка достала из бювара своей госпожи конверт и начала тщательно выводить адрес. В это время портьера раскрылась с другой стороны будуара, и в комнату, выпятив зоб, как гусыня, вошла рослая белая женщина лет сорока пяти, с большим ртом и двухэтажным подбородком. Это была домовая кухарка.

– Достань-ка мне у нее пару папиросок, – сказала она горничной.

– Возьми сама, – отвечала девушка и продолжала надписывать конверт.

Кухарка взяла из сердоликовой коробочки

несколько папирос, закурила одну из них и, севши на шелковом пуфе перед зеркалом, начала выдавливать ногтями прыщик на подбородке, а потом она запудрила это место барыниной пуховкой и сказала:

– Мочи нет как прыщи одолели!

– Не лакай черного пива...

– И то уж не пью.

– Ну, так не тискай мальчонков, которые приносят покупки.

– Ты, что ли, это видала?

– Еще бы! Зеленщикова мальчонку вчера, думала, ты, как русалка, совсем зацекочешь.

– Он ребенок, еще совсем без понятьев.

– Так ты и станешь дожидаться евонных понятьев!

– Нет, я ведь, ей-богу, я только всего и люблю баловать да помять их, красивых детишков. У меня крестник уж был шестнадцать лет, да вот помер, – я и скучаю. А ты это на кого еще грех новый наводишь: кому это пишешь?

Девушка не ответила.

– Думаешь, я не знаю! А я знаю!

Китаянка опять промолчала.

– Хочешь, скажу?

– Ну, говори!

– Генерала ты путаешь, вот что!

– Ну, так и знай, что его самого!

Она стала наклеивать марку.

– Вот ты надо мной смеешься, что я ласкаю детишков, а сама хуже попалась.

– Ничего не попалась.

– А отчего ж ты ревешь и некрасивая стала?

– Реву о том, что дура была, – в верности жить полагала.

– Вот то-то и есть; а теперь и видать – непорожня.

– И врешь, ничего еще пока не видать.

– Отчего же, когда батюшка был, он меня поблагословил и попить мне чайку дал с своего блюдца, а тебе нет?

– У меня на лбу петушки были натрепаны: он не любит. Да и не надо: не все то и сбывается, что он говорит.

Кухарка покачала головой и, вздохнувши, сказала поучительным тоном:

– Да, уж это неизвестно, почему так он по купечеству много отмаливает, а в разных зва-

нях не может.

– Не потрафляет!

– Не надо, дружок, так говорить, потому что хотя он и не потрафляет и не все пусть сбывается, ну, а все мы должны верить в божье посланье, хотя я и сама... этой драчихе, которая царапает, так бы ей все космы выдрала!

– И отвели бы тебя под суд, – сказала девушка, у которой нрав был шкодливый, но робкий. Но кухарка, женщина опытная, смело ей отвечала:

– Ничего не значит: «нарушение тишины беспорядка! Восемь дней на казачьем параде!» Ей-богу, вздую!

**В** это время внезапно раздался звонок. Кухарка и горничная обе быстро вскочили: девушка проворно опустила письмо в карман и побежала отворить парадный вход, а кухарка прошла в коридор, соединяющий переднюю с кухней, и притаилась у двери.

Вошел Валериан и негромко спросил:

– Кто у нас?

– Никого, – ответила девушка.

– А мама?

– Вышли.

– Не вышел ли, кстати, и из тебя твой дурацкий каприз?

– Как не дурацкой! Скажите, пожалуйста... нечего мне капризничать?

Девушка забирала самую бранчивую ноту.

– Возьми, пожалуйста, вот это себе и не дуйся, как дама женского пола.

– Что это такое?

– Серьги.

– Мне не серьги нужны, а добудь мне средство.

– После добуду.

– Нет, вы меня обманываете! Я вам не дура!

– Бери пока это!

– Не надо.

– Что за глупость! Кому же я их отдам?

– Мне что за дело? Я не хочу! Ничего от вас не хочу, потому что вы не благородный господин и студент, а самый низкий и подлый мужчина!

Валерий хотел ее остановить какою-то грубостью, но она дернулась и сказала:

– Смей-ка, посмей! – и ушла в свою каютку.

Молодой человек юркнул туда же за нею и заговорил с лаской:

– Послушай... Ведь ты же хотела... ты просила сережки... Бери же теперь, когда куплено!

– Куплено!.. Где?.. В чьем магазине? Иди, быть может, сдернул шутя у Савки на лавке?

– Зачем ты этикие пошлости говоришь?

– А как же не спросить? Быть может, их и носить нельзя?

– Это еще что за глупость?

– А, может быть, эта жимолость увидит и с ушами оторвет.

Молодой человек вспыхнул.

– Какая «жимолость»? – вскричал он.

– Да старуха-то эта... ваша Камчатка... Ведь она... жимолостная...

– Какая Камчатка!

– Не знаешь!

– Разумеется, не знаю!

– Полно дурака-то валять!

– Я тебе говорю, что не знаю: что такое Камчатка и почему Камчатка!

– Так ты у нее спроси, что это она сама Камчатка или за нее других посылают в Камчатку, а только я ее не боюсь и говорю, что она самая преподлая-подлая и уж давно бы ей бы пора умирать, а не ребят нанимать, которые хуже самой болтущей девчонки.

– Однако ты действительно невыносимо забываешься!

– Что же? Мне еще можно. Зато, когда старухой сделаюсь, не позабудусь.

Валериан бросил свой подарок на комодик девицы и, сжав ее руку, прошептал:

– Я тебя ненавижу!

– Чего благороднее, как теперь ненави- деть!

– Ты сама довела, что мне стала противна.  
– А противна, так зачем ты сюда пришел?  
– Я только и хотел тебе это сказать, что ты скверна!

– Ну да! Сделайте одолжение!.. Непременно скверна!.. Для кого-нибудь не скверна, а ты сказал, и уходи. Совсем напрасно ваши пульсы бьются...

– Ты врешь, мои пульсы не бьются!  
– Ну да!.. Оно и видно!  
– Ну так я тебе это сейчас объясню, для чего они бьются.

– Э, нет, брат, нет, нет! Я уж от этих ваших объяснений-то вон каким уродом стала, что даже все замечают.

Он что-то сказал, но она отвечала: «нет», потом опять: «нет», и потом еще:

– Нет, нет, нет! Что-о?.. Ага!.. Нет!.. Подаренье мне – это в состав не входит, а ты виноват и прощенья проси.

– И еще попроси!  
– И еще!  
– Ну, вот так! А то ступай вон... Вашего брата надо пробирать!

Подслушивавшая кухарка от этих послед-

них слов пришла в восторг и, озарившись радостной улыбкой, плюнула и прошептала:

– Ах ты шельма! давно ли из деревни, а как умеет! Это она опять на колени его поставила! Тьфу! Ей-богу, в ее черт ложку меду кладет!

И кухарка еще сильнее затаила дыхание, чтобы наблюдать, что будет, но дальнейшей проборки уже не было слышно, потому что дверь маленькой каютки закрылась, а с другого конца коридора, где своим чередом совершалась забота о пище, пополз невыносимый чад.

Кухарка бросилась к своему бурливому алтарю и застала на плите самый полный беспорядок: одно перекипело и било через край, другое перегорело, пережарилось и все наполняло смрадом помещение с потолка и до пола.

Кухарка рассердилась и закричала:

– О, черт бы вас взял с вашими пульсами и с вашей проборкой! Все, дьяволы, будете нынче без жратвы!

С этим, полная гнева, она вскочила на стол, открыла форточку и размахнула на-

стежь дверь с черного хода; но едва она это сделала, как вся просияла; на ее конце улицы тоже заходил праздник: у самого порога стоял румяный лавочный мальчик с корзиною на голове и не решался перешагнуть.

– А-а! – приветствовала его весело белая баба, – то-то я, братцы, слышу: кто это с такою великолепною гордостью ползет и катится, а это ты, шышь-пыжь – лавочная мышь? Здорово, Петрунька!

Мальчик дулся и молчал, а кучерявая бабелина рассмеялась и, потянув его за фартук в кухню, бойко продолжала:

– Полно дуть губу!.. Дурак! Ведь жив, чай, остался!

– Только и есть, что жив вам достался! – ответил плаксиво розовый мальчик и враз изменил голос, крикнув: – Принимай, что ли, скорее корзинку! Мне не время!

– А мне что за дело? Тут не снимай!.. Видишь, здесь чадно! Неси вон туда, в мою комнату.

Мальчик с корзинкою тронулся и опять в нерешительности остановился, но кухарка втолкнула его в комнату, и оттуда сейчас же

Послышался жалостный писк.

Вечер густеет. Все тихо.

В кухне прочистилось; чад унесло; из кухаркиной комнаты, озираясь, вышел робко лавочный мальчик; у него на голове опрокинутая опорожненная корзина. Она закрывает ему все лицо, и в этом для него, по-видимому, есть удобство. Кухарка его провожает и удерживает еще на минуту у порога; она молча грозит ему пальцем, потом сыплет ему горсть сухого господского компота, и, наконец, приподнимает у него над головою корзинку, берет руками за алые щеки и целует в губы. При этом оба целующиеся смеются.

Мальчик уже сбросил с себя свою детскую робость, а она ему шепчет:

– На гулянье пойдем вместе. Гляди, там какое веселье!.. Я тебе к празднику голубую рубашку сошью. Прибеги только завтра примерить.

– Прибегу, – отвечает мальчишка.

Она его еще обняла и, прижав к груди его головенку, сказала ему с материнскою нежностью:

– А когда тебя пошлют к прачке в заведе-

ние, ты с ее гладильщицами не разговаривай... Слышишь?.. Они девчонки ветреные. Можешь пропасть...

– Не-ет! – отвечал мальчик. – Мне и так всех стыдно!

– Вот то-то и есть! Да все, милка, ничего и не значит... А я всех дворников подкуплю, и мне сейчас все и донесут.

Он посвистывает и спускается с лестницы, обнаруживая в самом деле «великолепную гордость».

Дворницкий работник встречает его с вязанкою дров и говорит:

– Петра, сколько ты прожил лет?

– Тринадцать.

– Ишь, старик! А жить хорошо?

– Ничего!

– Ожидай, значит, лучшего!

Петр благодарит и уходит в ожидании лучшего.

Он будет на гулянье, она ему подарит рубашку. Со временем он попросит ее купить ему часы. А то ну ее к черту!

В передней и в кухне засветились хорошо протертые лампы. На плите в кастрюлях все

подлито и подправлено, буря прошумела и отхлынула, наступает снова чистота и порядок, как требуется. Надо и себя примундировать.

Кухарка повернула кран и спустила над раковиной воду до холодной струи. Этой воды она налила полный жестяной уполовник и всю ее выпила. Она пьет с жадностью, как горячая лошадь, у которой за всяким глотком даже уши прыгают. Прежде чем она кончила свое умыванье, в кухню входит тоже и горничная, и эта точно так же молча взяла уполовник, и так же налила его холодной водой, и так же пьет с жадностью, и красные уши ее вздрагивают за каждым глотком.

Затем и эта умылась холодной водой над тою же самою раковиной и замахала над головой мокрыми руками, потому что забыла взять с собой утиральник.

Говорить ей не хочется.

Кухарка ее поняла, кинула ей чистый конец своего полотенца и, поклонившись ей на подобие реверанса, сказала:

– Поздравляю с приятным бонжуром!

Горничная сделала шутливую гримасу и

ответила:

– И вас с теми же делами!

Они, кажется, признавали за настоящие «дела» – только одни дела природы, которая множит жизнь, не заботясь о том, в чем ее смысл и значение.

*1894*

# Примечания

*Даль Владимир Иванович* (1801–1872) – известный русский писатель и лингвист, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».

[^^^]

ремесло (*франц.*)

[^^^]

# 3

По мнению сына писателя А.Лескова, речь идет о писательнице О.А.Новиковой.

[^^^]

## 4

Неточная цитата из стихотворения А.К.Толстого (1817–1875) «Поток – богатырь». У Толстого: совершают они, засуча рукава, пресловутое общее дело: потрошат чье-то мертвое тело.

[^^^]

*Бертенсон Л.Б.* (1850–1929) – врач и преподаватель медицины в Рождественской больнице в Петербурге.

[^^^]

# 6

*Гипнос* – скачки (от греч. гипнос – лошадь).

[^^^]

Имеется в виду Наташа Ростова в эпилоге романа Л.Н.Толстого «Война и мир».

[^^^]

тетушка (*франц.*)

[^^^]

*Шопензауер Артур* (1788–1860) – немецкий философ-идеалист.

[^^^]

*Рацея* (лат.) – наставительное поучение,  
длинная речь.

[^^^]

*Соколов Петр Петрович* (1821–1899) – русский живописец, мастер изображения бытовых сцен.

[^^^]

Засецкая Юлия Денисьевна, Пейкер Мария Григорьевна, Пашков Василий Александрович, Корф Модест Андреевич, Бобринский Алексей Павлович – наиболее активные члены религиозной секты («пашковцы»), отвергавшей культ святых и церкви и находящейся в России под запретом.

[^^^]

Имеется в виду генерал Анненков Иван Васильевич (1814–1887), начальник жандармского корпуса, полицмейстер, а затем комендант Петербурга.

[^^^]

*Скарятин Николай Яковлевич* – казанский губернатор в 60–70-х годах.

[^^^]

Персидский шах Насреддин посетил Россию в 1889 году.

[^^^]

*Европеус Александр Иванович* (1826–1885) – участник кружка Петрашевского, приговоренный в 1849 году к смертной казни, но помилованный. *Унковский Алексей Михайлович* (1828–1892) – предводитель дворянства в Тверской губернии, либерал по убеждениям. Возглавлял тверскую оппозицию дворян в конце 50-х годов.

[^^^]

*Перовский Василий Алексеевич* (1794–1857) – генерал-адъютант, оренбургский военный генерал-губернатор и командир отдельного Оренбургского корпуса. Под его началом служил Т.Г.Шевченко.

[^^^]

Неточная цитата. У Пушкина: «Что нужно Лондону, то рано для Москвы» («Послание к цензору»).

[^^^]

*Катков Михаил Никифорович* (1818–1887) – реакционный публицист, редактор «Московских ведомостей» и «Русского вестника».

[^^^]

*Пан* – бог природы и пастухов в древнегреческой мифологии.

[^^^]

Речь идет об одном из «Стихотворений в прозе» И.С.Тургенева – «Нимфы».

[^^^]

*Иона-циник* – герой романа А.Ф.Писемского «Взбаламученное море».

[^^^]

*Квакеры* – особая ветвь протестантской религии в Англии в XVII веке.

[^^^]

Неточная цитата. У Карамзина: Смеяться, право, не грешно Над всем, что кажется смешно.

[^^^]

*Бокль Генри Томас* (1821–1862) – английский буржуазный историк либерального направления.

[^^^]

*Кана Галилейская* – город в Палестине, в котором, по преданию, Христос на празднике превратил воду в вино.

[^^^]

*Мытарь* – сборщик налогов и пошлин (по Евангелию).

[^^^]

Неточная цитата из стихотворения  
Н.А.Некрасова «Зеленый шум».

[^^^]

*Танагра* – одна из областей Древней Греции.

[^^^]

К Иоанну Кронштадтскому, протоиерею Андреевской церкви в Кронштадте.

[^^^]

*Отец Иоанн* – Иоанн Кронштадтский; *отец Антон* – Вадковский А.В. (1846–1912), писатель и церковный деятель, в 90-х годах – архиепископ в Финляндии.

[^^^]

*Боккаччо Джованни* (1313–1375) – известный итальянский писатель; «Волшебное дерево» – новелла о неверной жене из «Декамерона» Боккаччо.

[^^^]

Вот где собака зарыта! *(нем.)*

[^^^]

*Бисмарк Отто* (1815–1898) – канцлер Германской империи.

[^^^]

*Майорат* – введенное Петром I в России право наследования старшего в семье, обеспечивавшее постоянный приток в государственную службу младших в семье дворян.

[^^^]

Фигаро здесь, Фигаро там (*франц.*)

[^^^]

*Кармелитка* – монахиня ордена кармелиток, созданного во Франции в 1452 году.

[^^^]

«Ключ разумения» – произведение И.Галятовского, изданное в XVII веке.

[^^^]

*Ге Николай Николаевич* (1831–1894) – выдающийся русский живописец. «Бойня» – по-видимому, цикл картин Ге «О страданиях Христа» («Что есть истина?», «Распятие», «Голгофа»).

[^^^]

*Рамолитический* (франц.) – расслабленный,  
паралитический.

[^^^]

дяди Захара (*франц.*)

[^^^]

Подвинъте стул! (*фрaнц.*)

[^^^]

приблизьтесь ко мне (*франц.*)

[^^^]

персидская сирень (*франц.*)

[^^^]

счастлиное время (*лат.*)

[^^^]

Неточная цитата. «Оставь надежду всяк сюда входящий!» – надпись над воротами ада в «Божественной комедии» Данте (1265–1321) – великого итальянского поэта.

[^^^]

*Елизавет Воробей* – вписанное Собакевичем в список мужских душ для продажи Чичикову женское имя («Мертвые души» Н.В.Гоголя).

[^^^]

*Мещерский Владимир Петрович* (1839–1914) – издатель журнала «Гражданин», журналист официального направления.

[^^^]

искуснейший сочинитель (*лат.*)

[^^^]

*Кираса* – латы из двух половинок – нагрудника и тыльника.

[^^^]

он не носит уже больше манжет (то есть штатской одежды) (*франц.*)

[^^^]

до свидания (*франц.*)

[^^^]

Это кровосмешение! (*франц.*)

[^^^]

Неуместный разговор о преступлениях!  
(франц.)

[^^^]

*Аксель Оксеншерна* (1583–1654) – шведский канцлер, дипломат.

[^^^]

заниматься своим ремеслом (*франц.*)

[^^^]